

0-38

2•1980

апрель • июнь

ОГНИ
КУЗЬАССА





...Шалели огненные печи,
Был воздух огненный, когда
Ложился первый груз на плечи —

Вся прямота и просторечье
Крутого, умного труда...

Из стих. Н. Николаевского, публикуемого на 3-й стр.

ОГНИ КУЗБАССА

0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 32-й

№ 2(67)

В Н О М Е Р Е

СТИХИ

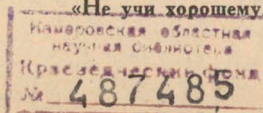
Гренада

Новокузнецкое литературное объединение

- | | |
|---|----|
| Николай Николаевский. Ночные смены. Чествуют шахтеров. Перед грозой. Воспоминания друзей. | 3 |
| Александр Раевский. После дождя. Молодые. | 35 |
| «Я по комнате пройду...» | 35 |
| Виктор Бокин. Подкова. «Расстелена дорога...» | 36 |
| «Мои руки...» Скорость. | 36 |
| Владимир Петраш. «Обиду, как нелепый сон...» | 37 |
| Мгновение. Бревенчатый собор. | 37 |
| Анатолий Балакай. «Все реже, реже в небе си нева...» «Когда-нибудь под воскресенье...» | 38 |
| Станислав Долгов. Присказка. Волшебные сундуки. | 39 |
| Леонид Сербин. «Прощаюсь, каюсь, лгу себе...» | 40 |
| «Не учи хорошему...» «Давай с тобою так поговорим...» | 40 |



390445



A

Владимир Власов. Метелица. Должен умереть.	5
Последний транспорт. Рассказы.	

ПРОЗА

Владимир Куропатов. Три рассказа: День-то какой! Односельчане. Следствие.	17
Афанасий Гуковский. Крутые повороты. Рассказ.	41

АНТОЛОГИЯ КОРОТКОГО РАССКАЗА

Леонид Лягов. Сапоги.	47
Галина Гурьянова. Ревность.	48
Валерий Сибикин. Мне подарили лето. Зеленые ливни.	49
Алексей Бабанин. Голубое озеро.	50
Дюсен Есмагамбетов. О царе-мечтателе и миражах.	51

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Илья Зыков. Здравствуй, сохатый!	52
Гарий Немченко. Четыре этюда: Малая птаха. Зазимок. Осенние костры. Хранительница света. . .	57

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Мэри Кушникова. Счастливые и грозные дни Достоевского.	60
--	----

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Евсей Цейтлин. «Легко ли быть сатириком?..» О творчестве Владимира Матвеева	73
---	----

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, Г. А. Емельянов, И. М. Киселев, В. Ф. Куропатов (отв. секретарь), В. М. Матвеев, В. В. Махалов, Э. А. Чигарева, Г. Е. Юров.

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14.

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Т. И. Махалова; художественный редактор А. С. Ротовский; технический редактор Г. Н. Манохина; корректоры А. Г. Ерофеева, В. А. Лузина

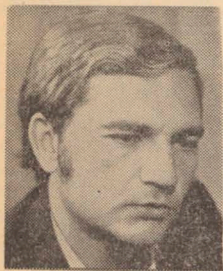
Сдано в набор 4.02.1980 г. Подписано к печати 10.04.1980 г. ОП10235. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 3. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,85. Уч.-изд. л. 7,6. Тираж 5000. Заказ № 3057. Цена 55 коп. Кемеровское книжное издательство, Кемерово, Ноградская, 5. Полиграфкомбинат, Кемерово, Ноградская, 5.

О 70500—15
М145(03)—80 29—80—4702000000

© Кемеровское книжное издательство, 1980

ГРЕНАДА

В Новокузнецке много лет работает городское литературное объединение «Гренада». На состоявшемся здесь в декабре прошлого года выездном семинаре молодых литераторов, который проводила Кемеровская писательская организация, обсуждались стихи членов литобъединения «Гренада». Им отдан весь поэтический раздел этого номера.



Николай Николаевский

НОЧНЫЕ СМЕНЫ

Мне восемнадцать. Легкий пыл.
Ночные смены я любил.
Шалели огненные печи,
Был воздух огненный, когда
Ложился первый груз на плечи —
Вся прямота и просторечье
Крутого, умного труда.
Бывало, сильно уставал,
Но на горячем не обжегся.
Искал работу. Запах кокса
Приятно нервы щекотал.
Дымился кокс. Тот терпкий дух
Напомнит будни коксохима.
Смешенье красок, газа, дыма.
Он для меня, как давний друг.
Хотя из юности ушли мы,
Гори во мне, ночная смена,
Шуми со мной, братва моя.
Все было так обыкновенно,
Но переходит неизменно
Со мной туда, куда и я,
И запах тот, как кровь по венам.

ЧЕСТВУЮТ ШАХТЕРОВ

Она запела... Платье в блестках.
Очаровательный вокал.
И зал огромный, зал шахтерский,
Подавшись, бережно молчал.
Молчал, как утром после смены,
Одною музыкой дыша.
Не скрипнет кресло — это пела
Его широкая душа.
Но остывает жар оркестра,
А зал все тот же — голубой.
Идет шахтер, стране известный,
Букет несет перед собой.
На сцену вышел, рядом — с нею!
Неловкий шаг, смущенный вид.
Смелей, чужак, земляк, смелей!
Он руку жмет, благодарит,
Ее ладонь в свою большую,
Как лепесток воздушный, взял,
И я подумал: поцелует...
Сейчас. И он поцеловал.

И раскололся громом зал!

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Лишь пять минут перед грозой...
Беззвучно, пусто лопнул зной.
И сразу ветром передернут,
День покачулся, потемнел.
Пахнуло морем, свежим дерном,
Все стало четким и подробным,
Воздушный вздох густел, как мел.
И я сказать себе посмел:
Не пропусти минуты эти,
Когда в ладоши хлопнут дети,
Когда другая половина
Бежит понуро и повинно
Домой. И дергает зонты.
Признайся всем, что любил ты
Минуты радостной тревоги,

Когда дома и лица строги,
Но через серость виден свет,
Как весть о том, что горя нет.
Шумы и мнущиеся тени.
И собранность. И расслабленье
Деревьев, чувств, всего и вся.
Почти мгновенным озареньем,
Горячим стеклышком пронзя,
Уже уходит...
Что навеет,
Смятенье неба и души?
Вздохни светло перед грозою,
Пред неизбежной глубиною.
...И свой поступок соверши.

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ

Я не люблю свои воспоминанья
 За то, что в них есть много пониманья
 И много оправдания себя.
 Мне нравится, как говорят друзья,
 Как локти в подоконники уперты,
 Как доводы доходчиво упорны,
 Как смех сквозь зубы сахаром блестит.
 Мне кажется, что чувствам нету края,
 Когда они, слегка перевирая,
 Поют любовь, ругают мыльный быт.
 И может быть, как я предполагаю,
 Не буду в тех рассказах позабыт.
 Какой у них всегда приметный вид:
 С гитарой, на вокзале, в кинозале
 И на собранье... что там говорить.
 Одни глаза — и те воспоминанья,
 Где истина не видится заранее,
 Которые уже не изменить,
 Которым жить, смеяться и любить!
 Хочу воспоминания друзей
 Я поселить в дыхание дождей
 И принести с цветами к маме.
 Пусть только свет, пусть даже не
 словами!
 ...И поделиться с новыми друзьями.



Владимир Власов

РАССКАЗЫ

Метелица

Радиограмма из экспедиции была короткой: «Молния, вручить немедленно. Невозможностью перевозки самолетами, лошадей застрелить. Кочергин».

Радист поставил точку, зажмурился и покрутил головой, представив на миг лицо начальника партии, читающего этот приказ.

«Как кочергой по голове врезал этот Кочергин, — подумал он. — Вручить такую радиограмму шефу — самоубийство. После этой молнии грянет такой гром... Он же сперва меня застрелит, а потом лошадей. Черт бы ее не вручал немедленно. Нет, уж лучше подожду. Выйдет Сергей Дмитриевич из конторы вечером, я и положу втихаря на стол. Я не громоотвод, а нервные клетки не восстанавливаются... У него и фамилия-то Крикунов, и прозвище ему ребята дали — Громкоговоритель... А у нас в этом не ошибаются».

Здесь радист малость покривил душой, потому что прозвище начальнику придумал сам он, когда под хмельком

появился в конторе, а Крикунов на него напустился. С легкой руки радиста и пошло гулять прозвище далеко за пределы партии.

Сергей Дмитриевич не закричал. Он ударил кулаком по столу так, что толстое небьющееся стекло, лежащее под бумагами, треснуло на множество мелких осколков. Широкое лицо его налилось кровью и, казалось, стало еще шире.

Тяжело дыша, Крикунов лег грудью на край стола, как бы для того, чтобы сдержат частые удары сердца. Планерка была сорвана. Начальники цехов замерли, лихорадочно вспоминая свои последние грехи и упущения по службе. Но Крикунов сдержался и как-то по-детски жалобно попросил завхоза:

— Дай закурить, Иван Федорович.

— Дак вы бросили, Сергей Дмитриевич... у вас же давление, на сердце...

— А...а... давай... раз уж все наперекосьяк, черт с ним, с давлением и с сердцем.

— Не надо бы...

— Дай папиросу... После обеда—все ко мне. Будем думать, как спасти лошадей.

Крикунов в три затяжки искурил папиросу и до конца планерки сидел, неловко навалившись левой стороной груди на стол. Слушал короткие доклады, отдавал распоряжения, а думал только о лошадях:

«Застрелить?... Застрелить Метелицу, Гривастого, других. Да уж легче самому застрелиться. В крайнем случае останусь с лошадьми до весны. Умру, но коней в трату не дам».

Заканчивая планерку, сказал завхозу:

— Запрягите Метелицу в легкие санки. Поеду на аэродром...

В коридоре завхоза ждал радист:

— Пронесло, Иван Федорович?

— Отделались легким испугом, Вася.

— Отойдет, он же — добрый.

Завхоз остановился, проворчал сквозь прокуренные усы:

— Что ж ты этому добряку побоялся отдать радиogramму вчера? Скулят тут: добрый, хороший... Этот добрый за малым не убил тебя, когда ты пьяный заснул на рации.

— Надо было убить, Иван Федорович, а он пожалел.

Иван Федорович вышел на крыльцо и так толкнул дверь, что она закрылась со звуком ружейного выстрела. Вася вздрогнул, знобко передернул плечами: «Сергея Дмитриевича понять можно — это шутка в деле: ликвидировать партию зимой при полном бездорожье. Живем-то как на острове. А кругом океан тайги, горы, реки. Лыжню не пробьешь, не то что дорогу. Между участками еще трактора ползают, а дальше...»

Метелица — ухоженная, белая, как снег, лошадь в нарядной сбруе, увидев Крикунова, повернула к нему точеную голову и, кося глазом, коротко призывно заржала. Сергей Дмитриевич погладил ей спину, дал кусочек сахара. Она мягко взяла сахар теплыми губами,

хрумкнула, благодарно закивала головой.

Из саней выпрыгнул завхоз, буркнул:

— Балуете вы ее. Разъелась, как печь, — на спине спать можно.

Крикунов помолчал, положил в сани двустволку, набросил на плечи тулуп, лежащий в санях, тронул лошадь вожжами. Метелица с места пошла крупной рысью.

Недалеко за поселком дорога круто поднималась в гору, и Крикунов держал лошадь. День начался ясный, морозный. Тронутые первыми лучами солнца, нежно розовели заснеженные вершины гор. Редкий лес в долинах, казалось, почернел, и каждое дерево виделось как-то особенно четко. В холодном воздухе волнующе остро запахло лошадиным потом и дегтем сбруи. По накатанной дороге Метелица шла легко, по-лебединому изогнув длинную шею, чуть потряхивая гривой. Плавный серпантин дороги зазмеился по мелколесью. Кривые, изуродованные злыми ветрами березки, одетые толстым слоем инея, потянулись с обеих сторон. Солнце поднялось выше, и иней засверкал прекрасными огнями отраженного света. Каждый снежный кристаллик ежесекундно менял цвет от светло-зеленого до огненного. На него было больно смотреть. Белые бока лошади потемнели от пота, но Метелица шла по-прежнему легко, не останавливаясь, не уменьшая шаг, высоко вскидывая голову. «Уговору, — твердил про себя Крикунов, любя лошадь. — Жив не буду, если не уговорю! Под самолет лягу, но своего добьюсь...»

Он вспомнил, как в бурную весеннюю ночь его разбудил завхоз, сообщил, что кобыла по кличке Вьюга не может ожеребиться и, наверное, скоро подохнет. В одном белье, набросив только полшубок и надев валенки, прибежал он тогда в конюшню. Конюх, увидев начальника в растегнутом полшубке и в кальсонах, крикнул еще издали:

— Порядок!

Втроем они подошли к измученной Вьюге. Возле нее на сухом сене вздрагивал мокрый беловатый жеребенок, пытался поднять бессильно падающую голову.

— Выходим...—успокаивал Иван Федорович. И выходил. Через четыре года молодую лошадь обвезжал сам Крикунов. По первому снегу. Долгое время ходил начальник в синяках и шишках. Но когда в первый раз выехал из целика на дорогу и лошадь пошла во весь мах, счастливо ухмыльнулся: «Летит как ветер! И назвали удачно — Метелицей».

С того дня все свободное время он посвящал обучению лошади. Завхоз, служивший в молодости в кавалерии, советовал, а Крикунов старался исполнять все в точности. И не раскаялся.

Однажды, выбирая трассу электролинии на новый участок, оставил Метелицу пастись возле речки, а сам полез на скальный гребень. Хотелось ему провести электролинию напрямую через скалы, а не кружить по долине, и выгадать на этом километра два. Спускался к реке, где паслась Метелица, поскользнулся на мокрой кедровой валежине, упал на камни и сломал ногу. Попытался встать, почувствовал такую боль, что потерял сознание.

Очнувшись, Крикунов вспомнил все, но не мог понять, почему ничего не видит. И только проведя рукой по лицу, догадался, что изъеденное мошкой и комарами лицо вспухло, а веки вздулись и не открываются. Пальцами приподнял веки—вокруг низкорослые корявые кедры, острые скальные обломки, а внизу блестит река. Страшно захотелось пить. Он не думал в этот момент, как добраться до базы партии или как поджечь кедр на корню и дымом дать о себе сигнал. Он думал только, как бы добраться до воды и напиться. Он еще не знал, что перелом открытый, что он потерял много крови. Мучитель-

ная жажда заслонила все. Перевернувшись на спину, Крикунов заскрипел от боли зубами, но сознание не потерял.

«На ногу надо шину»,—сообразил он и приоткрыл пальцами веки—из валежины торчали крепкие еще сучья. На ощупь он сломал четыре кривых сучка, сел и разрезал ножом сапог, полный крови. Осмотрев рану, убедился, что сломанная кость наружу не вышла. Рану Крикунов обмотал портянкой, кое-как наложил шину, укутал ее брезентовой курткой и перевязал куртку брючным ремнем. Каждое движение вызывало острую боль, слезы текли из заплавленных глаз. Теперь комары набросились на его тело—рубашка от них не спасала. Но он почти не чувствовал укусов—ему очень хотелось пить. Неуклюжая брезентовая повязка с сучьями была тяжела, но перелом фиксировала прочно. Взяв полевую сумку в руку, Крикунов пополз по камням вниз. Сумка мешала. Взял ее в зубы. Он по-прежнему ничего не видел и, останавливаясь на каждом метре, открывал пальцами глаза и намечал более легкий путь. Брюки без ремня сползали, мешали двигаться. Чтобы меньше тревожить сломанную ногу, он полз на правом боку, осторожно перебираясь скамья на камень. От рубашки вскоре остались одни клочья. Шероховатый выветренный гранит рвал кожу, как наждак. На камнях за ползущим оставались капли крови. Комары, мошка и слепни осата-нели. Запах пота и свежей крови они чували на большом расстоянии и слетались на ползущего человека со всех сторон. Отгонять их было бесполезно, и он слепо полз вниз по склону, изредка вытирая лицо. Он спустился далеко по склону, когда услышал, что где-то близко под камнями журчит вода. «Там, где кончается россыпь скальных обломков, может быть родник»,—догадался Крикунов. Эта мысль подстегнула его, и он пополз быстрее. Но родника в конце россыпи не было. Почва была

влажная и холодила тело, а по следу сочилась вода. Крикунов достал из сумки нож и, выбрав место, где почва казалась влажнее, начал рыть ямку. Вода показалась сразу под дерном. Она была грязная, наполовину смешанная с землей. Углубив ямку, он срезал полный стебель медвежьей пучки и стал ждать, придерживая пальцами распухшие веки. Ямка наполнилась водой, муть оседала быстро. Но он уже не мог ждать, сунул конец стебля в воду и стал жадно пить.

Сразу стало легче. Впервые после того как он пополз от кедровой валежины, Крикунов посмотрел в долину.

Река была еще далеко. Заметил: в сотне метров от него на лугу паслась Метелица.

«Зря спутал лошади ноги, — с сожалением подумал он. — Можно бы позвать на свист. Она приучена».

Крикунов напился еще раз уже чистой, отстоявшейся воды, сунул в рот четыре пальца и громко свистнул. Метелица подняла голову, насторожилась. Он свистнул еще раз. Метелица повернулась к горе и стала прыгать в сторону Крикунова.

Превозмогая боль в ноге, Крикунов сел, чтобы лошадь увидела его, и стал свистеть часто, прерываясь только для того, чтобы приоткрыть пальцами веки... Слышно было уже, как тяжело стучат по мягкой земле копыта, слышно было, как фыркает Метелица. Вот она уже рядом, тянется к нему мордой, а он дрожащими, израненными о камни руками гладит бархатную шерсть, не видя ее потихоньку распутывает.

— Выручай, милая! — хотел сказать Крикунов, но услышал только хриплый шепот. Голоса не было.

Нехитрым приемом он заставил Метелицу лечь на землю и, навалившись грудью на седло, поднял лошадь. Толчок при подъеме отозвался в ноге такой болью, что он застонал...

Будто понимая, что везет больного,

Метелица шла осторожно, мягко ступая по заболоченной земле.

Крикунов висел на седле и боялся только одного — лишь бы не ослабли подпруги...

А год спустя, переправляясь в большую воду через бурную горную реку, он спасся только потому, что ухватился за хвост своей лошади, и она вытащила его на берег.

«Разве такое забудешь?» — думал Крикунов, кутаясь в тулуп, и вздрогнул — впереди на березе сидела стая косачей.

Косачи, вытягивая шеи, спокойно клевали березовые почки, а две тетерки сидели неподвижно, пригретые солнцем. Крикунов легким движением откинул полы тулупа, потянулся за ружьем. Косачи не испугались лошади и подпустили Метелицу почти вплотную. Грянули два выстрела, и две птицы камнем упали в снег. Стая снялась и стремительно ушла в долину.

«На подмазку летчикам», — усмехнулся Крикунов, подбирая убитых птиц.

На плоском, как стол, водоразделе у самого края взлетной площадки рабочие загружали в самолет буровые штанги. В стороне Крикунов уговаривал летчиков. Он уже накричался до хрипоты, но ничего не добился. Летчики отказывались перевозить лошадей. Кто-то из рабочих горько пошутил:

— Лопнет сегодня от злости наш Громкоговоритель.

Командир АН-2 гудел простуженным голосом:

— Не положено. Надо особое разрешение.

— А жить тут положено? — кипел Крикунов. — Двенадцать месяцев зима — остальное лето!

Любуясь косачами, командир примирительно сказал:

— Зато охота какая, Сергей Дмитриевич: и лоси, и олени, и птицы.

Крикунов снял с плеча легкую, как перышко, бельгийскую двустволку две-

надцатого калибра, сунул в руки командира:

— Бери в придачу косачам. Только возьми коней.

Глаза командира блеснули.

Со знанием дела он рассматривал ружье, восхищенно цокал языком:

— Игрушка! А прикладистая какая!

Члены экипажа столпились вокруг командира.

— Редкостное ружье, — похвалил второй пилот.

— Зверобой! — подтвердил бортмеханик. — А что значит эта чеканка, Сергей Дмитриевич?

— Орлиная лапа — герб графа Шуленбурга. Сделано по специальному заказу.

С явной неохотой возвращая ружье, командир пробасил:

— Посоветуюсь с начальством. А вы тут тоже думайте.

— Да что тут думать! — снова взвился Крикунов. — Всего полчаса лету...

— А если лошадь взбрыкнет. Это самолет — не конюшня.

— Они у меня смирные. Вот стоит Метелица. Послушна как малое дитя. Я с седла положу ей на голову ружье промеж ушей, выстрелю, а она не дрогнет. Я сам с нею полечу. Это же не просто лошадь — друг. А разве друзей предают?

Командир крикнул сердито:

— Гм... да... бывает... особенно женщины...

— Ну, нашел с кем сравнивать, командир. — Летчики закурили.

Взял папиросу и Крикунов. Сдерживая себя, попросил:

— Возьми ружье. От всего сердца дарю.

— Ну, что ты. Я заплачу.

— Не надо. Ему цены нету... а так оно тебя беспокоить будет, подталкивать. Смотришь, и добьешься разрешения...

Уже возле самолета командир пообещал:

— Если сегодня что-нибудь придумаю насчет страховки лошадей, попробую.

Пожимая на прощание руку Крикунова, добавил:

— Ружье я куплю. Возьму пока с собой. А ты зря горячишься. Сердцем живешь — трудно тебе. Ну, думайте!

Думали все. На совещание пригласили даже радиста. И не зря.

— Перевозить наших коней в этой дюралевой коробке — дохлое дело, — заявил Вася. — Предлагаю под ноги им настелить добавочный пол из плах. А то стукнет какой-нибудь Мухран копытом и полетит вниз без парашюта.

— Дельно, — одобрил Крикунов. — А какую гарантию мы дадим летчикам, что лошади не будут брыкаться? Не укладывать же их в самолет со связанными ногами?

Никто не ответил. Сидели долго, но спасительное решение так и не нашли.

После полуночи в дверь Крикунова постучали. Вошел завхоз.

— Не спится, Сергей Дмитриевич?

— Какой там сон. Я уж тут решил обуть коней в валенки, чтобы смягчить в случае чего удар. Возьмем валенок и сошьем им мягкую обувь.

Иван Федорович сел на стул, сказал:

— Они и в валенках разнесут самолет в прах. Нет, начальник, лошадей надо подвешивать.

— Как?

— А как в кузнице, когда их куют, — на ремнях. В потолке у самолета найдем за что привязать ремни?

— Найдем.

— Ну и ладно. А ремни из кузницы возьмем, пропустим под брюхо и приподнимем, чтобы копыта пола не касались.

— Спасибо, Иван Федорович! Век буду помнить.

— Погоди благодарить, Сергей Дмитриевич. С лошадьми-то вроде получается, а вот с кошками что делать? Люди разъехались, а кошек бросили. Орут по

поселку, аж мороз по коже дерет, а летчики, суеверные черти, кошек на борт не берут.

Крикунов засмеялся впервые за все последние дни:

— Грузи всех в один ящик, забивай плотно, чтобы не было видно. Увезем как техгруз...

По пологому деревянному трапу Метелица до половины вошла в самолет и стала.

Командир ахнул:

— Ни назад, ни вперед!

Метелица подняла хвост, оправилась на доски трапа и только потом вошла.

Командир засмеялся:

— Какая воспитанная, сроду бы не подумал.

За день вывезли всех лошадей.

Последним рейсом отправили кошек вместе с оборудованием.

На ящике для пушей важности радист Вася написал: «Не кантовать! Осторожно! Вскрывать в полной темноте!»

Прощаясь, командир спросил:

— Сколько тебе за ружье, Сергей Дмитриевич. Сколько ты сам-то платил?

— Подарок командования...

Командир вынес из самолета двустволку и молча отдал Крикунову.

Должен умереть

Санитара операционной Бориса Гринева разбудил староста блока:

— Номер 67932 — в лазарет!

У входа в барак Гринева ждали два эсэсовца.

«Что случилось? — подумал Гринева, стоя перед эсэсовцами с непокрытой головой. — Ночью никогда операций не делали, а сегодня...»

Сильный толчок в спину прервал его мысль.

— Шнель!

Гринева побежал через плац. За спиной бухали сапоги охранников. Холодный осенний ветер тоскливо выл в проволочных заграждениях, бился о высокую каменную ограду лагеря. Цепляясь за верхушки сторожевых башен, неслись низкие косматые тучи. Редкие крупные капли дождя секли лицо.

Борис заметил, что лагерные ворота открыты. Возле них в свете прожектора стояли часовые и два офицера.

«Кажется, сам лагерфюрер, — отметил Гринева. — Кого они ждут?»

Короткий тревожный сигнал автомашины послышался из-за каменной стены и смолк у ворот. Гринева знал, что на территорию лагеря въезд машин ка-

тегорически запрещен. Но он еще не добежал до лазарета, а его обогнали две легковые автомашины. Их, очевидно, ждали, потому что ворота в лазарет были открыты настежь. Машины резко, со скрипом затормозили возле операционной. Из первой вышли четыре офицера. Из второй солдаты вынесли носилки, закрытые белой простыней.

В предоперационной Гринева встретил главный хирург лазарета, молодой француз с седой головой. Он уже снял полосатую арестантскую куртку и мылся, готовясь к операции. Увидев Гринева в зеркало, коротко кивнул, улыбнулся невесело, словно извинился, что потревожил ночью. Рядом с ним мылся второй хирург, чех, и русский фельдшер, исполняющий обязанности операционной сестры. В углу надевал халат друг Гринева, санитар Казимир Ковальский. Главный хирург оглянулся, глазами показал на носилки, стоящие перед дверью в операционную: «Готовьте больного».

Пока Гринева переодевался, Казимир снял простыню, закрывавшую больного. На носилках лежал мужчина среднего роста. Ноги и левая рука его были

тщательно забинтованы. Под бинтами проложены шины. «Переломы», — догадался Гринев. На открытой груди и плечах бугрились тугие связки мускулов. Белое, как мел, широкое, чисто выбритое лицо оттенялось черными, слегка выющимися волосами. Высокий лоб в капельках пота. Глаза закрыты.

Укладывая больного на стол, Гринев попросил Ковальского:

— Привязывай здоровую руку, Казимир, но не туго. Мне следить за пульсом. А пока вытру ему лицо.

— Вшистко бэнди в пожонтку, Боря. Гринев наклонился к голове больного. Стирая марлей пот, почувствовал, как под пальцами дрогнули веки. Борис убрал влажную марлю — на него в упор смотрели большие карие глаза. Чуть слышным шепотом больной спросил:

— Ты русский?

Гринев кивнул.

— Где я?

Борис почему-то ответил тоже шепотом:

— В концлагере Заксенхаузен. Сейчас придет доктор...

— Кто этот доктор?

— Француз... Такой же заключенный, как и мы. Но вы не волнуйтесь — он свое дело знает.

— Передай доктору, что я должен умереть!

Карие глаза смотрели на Бориса строго и требовательно:

— Понял? Дол...жен уме...реть! — Глаза закрылись. Казалось, больной опять потерял сознание.

— Что он мовит? — спросил Казимир.

— Бредит что-то непонятное...

Завязывая на спине главного хирурга тесемки стерильного халата, Гринев, пользуясь лагерным жаргоном, очень тихо передал ему необычную просьбу больного.

Главный ничего не ответил, только шевельнул седыми бровями и покосился на дверь — в операционную входили офицеры в белых халатах. За ними

следовали лагерфюрер и лагерный переводчик, тоже в белых халатах.

Минутная тишина. Только слышно было, как по крыше больницы хлещет сильный дождь. Гринев мягко охватил пальцами запястье здоровой руки. Пульс был редкий и слабый.

Казимир большими ножицами разрезал повязку на правой ноге, развернул толстый слой бинтов и ваты, окровавленные внутри. Нога была прострелена насквозь в двух местах. Из открытых ран сочилась кровь. Главный хирург нахмурился. Офицеры придвинулись вплотную к столу. Коренастый офицер с седыми висками поманил пальцем переводчика, приказал, словно пролаял:

— Переведите французу, чтобы он долго не возился. Этот человек нужен нам всего на пару часов. Он должен сегодня говорить.

Главный хирург ответил:

— Раненый потерял много крови. Он без сознания...

Офицер не дослушал переводчика:

— В крайнем случае завтра.

— Я только врач...

— Но вы не просто врач. Вы профессор!

Француз пожал плечами. Он уже работал, очищая раны.

Гринев почувствовал, как напряглась рука раненого, как зачастил пульс.

«Неужели он в сознании и все слышит? — подумал Гринев. — Но как можно терпеть такую боль?»

Коренастый офицер пообещал:

— Если он заговорит сегодня, мы освободим вас, профессор, из лагеря.

— Я не бог...

Офицер сказал раздраженно:

— Если он не заговорит завтра, вы пойдете в крематорий.

Француз промолчал, но халат на его спине сразу потемнел от пота. Он осторожно ввел в рану зонд и ответил спокойно:

— Сделаю все, что возможно...

Пульс у раненого забился чаще, но лицо не дрогнуло.

«В сознании, — утвердился в своей догадке Гринев. — Все слышит и все понимает»

Раны на ногах обработали быстро. Один из офицеров, видимо, врач, похвалил француза:

— Гут, гут!

Рана на руке была страшнее. Разрывная пуля разбила локтевой сустав, превратив его в крошево. Все поняли, что руку спасти невозможно. И все молчали, глядя на главного хирурга. Только фельдшер, подающий инструменты, спросил:

— Ампутация?

Главный хирург глянул на своего помощника чеха, на врача немца, буркнул в марлевую маску:

— Вуй, месье...

Фельдшер подал ампутирующий нож и пилу. Главный начал ампутацию. Пульс под пальцами Гринева вдруг ослаб. Он сказал об этом французу.

— Адреналин! — скомандовал хирург.

Чех сделал укол.

— Пульс? — спросил главный, и лицо его побледнело.

— Пульса нет.

— Шприц, адреналин...

Француз взял шприц с длинной иглой и всадил иглу в сердце раненого.

— Есть пульс, — доложил Гринев.

Офицер врач воскликнул:

— Зер гут, профессор! Зер гут!

Рука раненого в пальцах Бориса обмякла. Пульс прощупывался плохо. «Вот теперь он, действительно, без сознания, — решил Гринев. — Если бы мне сказали в институте, что человек может так долго терпеть боль и симулировать потерю сознания, никогда бы не поверил!»

Коренастый офицер, глядя на фельдшера, бинтующего культю, приказал переводчику:

— Всех заключенных после уборки отсюда вон! — И резко повернувшись к

врачу офицеру: — Дежурить возле раненого будете вы. Мы будем рядом. Как только он придет в себя, дайте знать.

Раненого поместили в отдельную палату. Врач офицер открыл форточку, сел ближе к окну. Главного хирурга, помощника и фельдшера эсэсовцы повели в бараки. Борис и Казимир делали уборку. Вынося таз с отрезанной рукой, Борис заметил, что пальцы мертвой руки сжаты в кулак.

«Словно прячет что-то», — подумал он и, осторожно оглянувшись, разжал еще теплые пальцы. В мертвой ладони лежал патрон от пистолета.

«От нашего ТТ, — определил Борис. — Видно, берег для себя».

Уборку закончили быстро. Проходя мимо палаты, где лежал раненый, Казимир толкнул Гринева, кивком указав на стеклянную дверь. Раненый лежал неподвижно. Рядом, уронив голову на столик, дремал врач офицер.

Ветер утих. Дождь почти перестал.

В спящем лагере было так тихо, что отчетливо слышалось, как капает с крыш бараков вода.

«Сейчас бы уснуть, — подумал Борис, — и не просыпаться. Да разве после этого уснешь? Как он только терпел? И что ему предстоит вытерпеть еще? А профессор зря ввел адреналин в сердце. Еще минута, и человек бы уже не мучился. Но ведь он врач. А что бы я сделал на его месте? То же самое... Нас же учили в институте бороться за жизнь человека до последней секунды».

Врач офицер дремал, время от времени поднимая голову и поглядывая на раненого.

Кап, кап, кап — слышалась из-за окна убаюкивающая музыка капели. Врач офицер встал, прошелся по палате, выглянул в коридор, вернулся, закрыл форточку, сел к столу. Кап... кап... — чуть слышно доносилось из-за окна.

«Проклятая служба, — думал он. — И что это за человек, ради которого сам

шеф гестапо не спит целую ночь и не дает спать другим? Говорят, он ухлопал в перестрелке трех лучших сотрудников шефа, но шеф приказал взять его только живым. А француз молодец! Поймать бы у него. Шеф знал, к кому везти раненого. Наши бы коновалы... коно... валы...» И он опять задремал, опустив голову на стол. Как... кап... кап... — слышал он сквозь сон.

За окном рождался пасмурный осенний день.

Кап... кап... кап... — редко, но почему-то громко стучала капель. «Наверное, форточка открылась, — сквозь сон подумал офицер. — Надо бы закрыть». Но не встал и даже не поднял головы. А капли падали все реже и реже. Кап...

кап... кап... кап. И потом совсем редко: кап... кап...

В коридоре слышались шаги. Врач офицер поднял голову, глянул на раненого. Раненый лежал неподвижно, а из-под кровати по линолеуму текла тонкая струйка крови. Кровь просачивалась через матрац и падала на пол тяжелыми редкими каплями. Офицер сдернул с раненого одеяло и простыню. Повязка с ампутированной руки была сорвана, швы нарушены. Еще сочилась кровь и тяжело падала на пол: кап... кап... А человек был мертв.

В этот день в далекой Москве радист принял короткую радиограмму:

«Первый погиб. Дела принял. Жду указаний. Второй».

Последний транспорт

В середине апреля погода испортилась. Днем и ночью над лагерем висел густой туман. Сильные прожекторы сторожевых башен маячили в тумане тусклыми желтыми пятнами.

— В такую погоду только спать, — ворчал на утренней поверке мой сосед, старик Никанор Васильевич Ивашов.

А я уже спал, прислонившись всем телом к соседу справа — лейтенанту Григорию Куркову. Спал стоя и слышал сквозь сон, словно сквозь вату, воркотню Ивашова, голоса блокковых и эсэсовцев, пересчитывающих заключенных. Мне снился хлеб.

Сильный удар в живот вырвал меня из мира снов в тот момент, когда я разломил пышную булку и уже открыл рот.

Низенький, плотный эсэсовец погрозил мне пальцем, сказал зло и брезгливо:

— Альте пфайфе ду! Альте шпинне ду! (Старая трубка ты! Старый паук ты!). За его спиной угодливо хихикнул блокковый, объяснил, что мне всего двадцать лет.

Эсэсовец приблизился вплотную, разглядывая мое лицо и номер. Безнадежно махнул рукой, спросил блоккового, как такая пададь могла прожить в лагере два года и до сих пор не попала в крематорий? Блокковый засмеялся шутке эсэсовца и заверил его, что это упущение можно исправить. Эсэсовец вынул блокнот, чтобы записать номер дерзкого нарушителя порядка, и замешкался, отыскивая карандаш.

«Ну, вот и конец», — как о чем-то постороннем подумал я.

В этот миг отдаленный, слитный, могучий гул донесся к нам с востока. Этот гул, казалось, всколыхнул туман.

«Наши!» — сверкнула мысль, и я увидел второй раз за все время пребывания в лагере, как заключенные без команды сняли шапки.

Эсэсовец заспешил, пряча большой блокнот. Но руки его дрожали и блокнот мялся, не попадая в карман. Он торопливо пошел вдоль строя и, как призрак, растаял в тумане.

— Твое счастье, парень, — шепнула Ивашов. — Свобода близко.

В этот день заключенных на работу не водили. Днем туман рассеялся, и над лагерем прошли три русских истребителя. Они сделали два круга и скрылись так же стремительно, как и появились. Сорок тысяч человек выскочили из бараков. Русские, немцы, французы, итальянцы, сербы, хорваты, чехи, поляки, бельгийцы, голландцы, испанцы и норвежцы с надеждой смотрели на самолеты с красными звездами. Старый безнадежно больной болгарин ползком добрался до выхода из барака и плакал от радости, лежа на сырой земле. Слезы мешали ему смотреть. Он вытирал их рукавом полосатой куртки и повторял:

— Братушки! Братушки!

Там он и умер, провожая взглядом русские истребители.

С этого дня скудный паек урезали до предела. Брюква, которую немцы называли штекрюбер, а русские штык-рыба, из баланды исчезла, и мы получали какую-то мутную воду. А с девятнадцатого апреля перестали выдавать хлеб и эту баланду. По лагерю поползли слухи одни страшнее других. Гром артиллерийской канонады с востока слышался теперь и днем и ночью. Крематорий, усиленно работавший с февраля, дымил круглосуточно. Каждую ночь в бараках появлялся офицер в сопровождении дюжих эсэсовцев и, подсвечивая ручным фонариком список, вызывал:

— Номера 18654, 21345, 70251, 240633...

Уводили политических, в основном коммунистов. Обреченные на смерть уходили по-разному: большинство прощались, мужественно и твердо шли к выходу, а некоторые кричали пронзительно и страшно. С тех пор прошло больше тридцати лет, а оставшиеся в живых до сих пор слышат во сне эти крики и, просыпаясь в холодном поту,

шугают свою постель — не на нарах ли, не в бараке ли они?

В ночь на двадцать второе апреля 1945 года из ворот концлагеря Заксенхаузен вышел небывалый этап — сорок тысяч человек. Сорок колонн, по тысяче заключенных в колонне. Этап немцы называли транспортом. Подобных транспортов никогда раньше не было. В лагере остались только те, кто не мог уже двигаться. Заключенные шли по пять человек в ряд. На каждые две пятерки два эсэсовца. В конце каждой колонны, чуть отставая, шел еще один. Он стрелял упавших. «Маршем смерти» называют сейчас в книгах этот транспорт. В колоннах не было обычного построения по рабочим командам или блокам. Шли вперемешку политические заключенные, уголовники, баптисты, дезертиры, саботажники. Рядом со мной только в двух пятерках шли трое русских, немец, поляк, француз, испанец, серб, чех и итальянец. Никто не знал, что на побережье Балтийского моря готовятся баржи, а на аэродромах самолеты, чтобы разбомбить баржи с заключенными и утопить врагов рейха. Каждый посвоему представлял конечную цель этапа. Темпераментный француз уверял всех, что транспорт направляется на запад, что заключенных передадут в руки англичан или американцев. Его горячо поддерживал итальянец. Старик Ивашов — белорусский партизан, услышав первый выстрел от хвоста идущей впереди колонны, сказал:

— Гонят на смерть!

Поляк подтвердил:

— На погиль!

Остальные молчали. Стук двух тысяч деревянных подошв по асфальту приглушил еще один выстрел. Наши ряды раздвинулись, обходя труп в полосатой одежде. Испанец выругался. Поляк тяжело вздохнул:

— Перший... Матка боска...

И через полсотни шагов:

— Другий...

Бывший лейтенант Курков вспыхнул: — Заткнись! За каким чертом считать? И так тошно...

Теперь выстрелы слышались и впереди и сзади почти непрерывно. И трупы попадались все чаще и чаще. Француз больше не говорил о передаче этапа союзникам. Итальянец испуганно вздрагивал от каждого выстрела.

Быстро темнело. Колонна входила в какой-то маленький городок. Зоркие глаза итальянца, идущего с краю, заметили на тротуаре окурок сигареты. Он шагнул в сторону, наклонился и тут же рухнул на асфальт, убитый выстрелом в затылок.

— Отмучился... — сказал Ивашов и перекрестился.

Перед рассветом нашу колонну загнали в огромный пустой склад. Никанор Васильевич Ивашов первый определил, что бревенчатые стены склада запорошены мукой пылью. Он шепнул об этом Куркову и мне.

— Где ты видишь муку в такой темноте? — удивился лейтенант. — Тут же глаз коли — ничего не видно.

— Нюхом чую...

Нам удалось на ощупь смести со стен почти полную шапку муки. Кто-то из заключенных понял, чем мы занимаемся, тоже начал сметать муку. А через несколько минут тысяча человек, давя друг друга в крошечной темноте, бросилась на стены.

Испуганные шумом и криками, охранники решили, что заключенные ломают склад. Загремели выстрелы. Стреляли по стенам в упор. Заключенные легли на пол. Но как только стрельба прекратилась, снова полезли на стены — голод был сильнее страха.

Муку сметали со стен, бревна обливали языками.

Второй день пути показал, что транспорт движется на север. На месте убитого итальянца шел теперь русский матрос. Он определил, что этап направляется к Балтийскому морю.

— Идем по коридору между нашими и союзниками, — сказал он.

Над дорогой прошла тройка русских истребителей.

— Наши! — не сговариваясь, в один голос сказали мы.

Истребители развернулись где-то за горизонтом и прошли над нами совсем низко. Наверное, летчики не могли понять, кто движется по дороге. Но они не стреляли. А огромная серая гусеница медленно ползла на север, устлая дорогу трупами в полосатых халатах.

К вечеру матрос совсем ослаб. Он сбросил халат и расстегнул куртку, представив ветру голую грудь, исполосованную страшными шрамами. Но и это не помогло. На крутом повороте дороги он сказал громко:

— Прощайте, товарищи! — И шагнул к дереву. Упираясь спиной в дерево, он распахнул куртку и, глядя на проходившего охранника, хрипло крикнул:

— Стреляй, фашистская морда! Чего тянешь?

Короткая очередь прошла его грудь, и он, уже мертвый, стоял еще несколько мгновений, а потом медленно упал.

За пять дней пути до города Виштока людей ни разу не накормили. Теряя рассудок, заключенные бросались на ямы с прошлогодней картошкой, расположенные вблизи дороги, но редко кто возвращался в строй. Людей убивали в этих ямах. Счастливые, оставшиеся в живых, грызли сырую картошку, делились с товарищами. Чеху пуля попала в позвоночник. У него отнялись ноги. А он, уже теряя сознание, подгребал к себе картошку. Поляку, бросившемуся вместе со мной к яме, пуля выбила глаз, поляк упал и уже не поднялся. Грише Куркову прострелили плечо. Перевязывали его на ходу. Гриша скрипел зубами, но не стонал. До Виштока из сорока тысяч дошли двадцать пять.

Однажды над дорогой прошел американский самолет и сбросил листовки.

На немецком, русском и английском языках было напечатано:

«За каждого убитого заключенного, найденного на дороге, будет расстреляно десять немцев».

Стрельба прекратилась. Появились автомашины, которые подбирали упавших и увозили неизвестно куда.

Ночевали на лугу вблизи какой-то фермы. В этот вечер сменили охрану. Вместо эсэсовцев рядом с колоннами теперь шли старики из фольксштурма. Они явно побаивались заключенных и старались держаться от них подальше.

На рассвете фермер и работники готовили корм для своих свиней. Запах вареной картошки разбудил тех, кто спал ближе к ферме. Истощенные, закончневшие под открытым небом люди не могли сразу встать на ноги. Они поползли на этот запах. Я видел, как испугался фермер, когда к свиным корытам на четвереньках двинулись сотни заключенных. Он закрыл лицо руками и отвернулся к стене свинарника.

А на следующий день наша колонна почему-то оторвалась от остальных.

На десятые сутки пути с запада послышалась орудийная стрельба. В обед обстоятельные старики-охранники открыли свои ранцы и начали есть на глазах у заключенных. Не готовясь, не стовариваясь, заключенные бросились на охрану. Все было кончено в несколько минут, и тысячная толпа ринулась на запад, откуда слышались выстрелы пушек. Никанор Васильевич Ивашов с карабином в руках собирал русских:

— Ребята, за мной! К союзникам не ходить!

Бегущие остановились, собрались возле старого партизана. Он энергично доказывал:

— Нечего там делать! Черт их знает, этих союзников — загонят опять за проволоку. Пойдем на восток! Наши близко.

Двигались ночью. В предрассветной мгле слышали:

— Стой! Кто идет?

Часовой выругался.

И этот крик и матерщина были самыми милыми сердцу словами за последние три года.

г. НОВОКУЗНЕЦК



Владимир Куропатов

ТРИ РАССКАЗА

ДЕНЬ-ТО КАКОЙ!

Полуденный зной я пересидел в доме. Часу в пятом вышел за ворота и принялся докалывать дрова. Осталось с десяток березовых чурбаков. Несколько раз махнул топором, и по вискам потекли струйки пота. Солнце уже заметно сползло к горизонту, но было душно, как в полдень. Решил оставить работу на самый вечер. Перекинул топор через плечо и направился во двор.

В это самое время из бора, что по ту сторону реки, выкатился юркий бортовой газик. Нырнул с бережка, под колесами зазвенела галька, по сторонам раскинулись крыльями громадной птицы сивые водяные полотна. Выскочив на эту сторону, машина на полном газу помчалась по поляне прямо на кучу наколотых мною дров. В каком-нибудь метре от них взвизгнули тормоза. Кабину и капот осыпала поднимающаяся со дна кузова травяная сечка. Машина заглохла. Из кабины высунулась взлохмаченная, чумазая, мокрая от пота голова Петьки, моего двоюродного брата.

— Привет!

— Здорово. Что-то рано отработался?

— Так день-то какой! — восторженно сказал Петька и выпрыгнул из кабины, хлопнув дверцей.

— К черту такой день. Свариться можно. Петька нетерпеливо вытер рукавом рубашки лицо, уставился на меня черными, шельмоватыми глазами.

— Бра-тиш-ка! Какое сегодня число?

— С утра четырнадцатое июля.

— Ну?!

— Елки с палками! День твоего рождения!

— Смотри-ка, помнишь! Сегодня мне, — Петька картинно описал круг рукой и ткнул черным от мазута и пыли указательным пальцем в грудь, — садануло двадцать два! Понимаешь, сам случайно вспомнил. Значит, отвез на яму сечку, поехал в последний раз. Вдруг что-то как засвербит в носу, как давай я чихать — спасу нет. Чуть в телеграфный столб не врезался. Думаю, что за едрит твою! К чему бы такое? Решил, что к одному из двух: или колесо спустит, когда буду ехать груженный, или что-нибудь сегодня по мелочи сбодню... И вдруг вспомнил! — хлопнул себя по лбу. — День же моего рождения! Две двоечки садануло! Р-р-р-развернулся — и вот я здесь! — с Петькиного лица в один миг слетело сияние, пропал, как не бывало, восторг. Спросил устало и скорбно: — Гроши есть?

— Откуда? — вздохнул я.

На небольшие отпускные я купил себе пальто, а отцу в подарок недорогой костюм. И денег у меня не осталось. Петька знал это. Отсюда — и скорбь в голосе.

— Плохо, — сел на чурбак, закурил, задумался. — Может, у Михеевны трешку раздобудем? — показал глазами на мою мачеху, ковырявшуюся в огороде. — Через три дня аванс.

Я насмешливо хмыкнул.

— Вообще-то конечно, — согласился Петька. — Она только от дохлого петуха уши даст. И то от чужого.

Петька курил и, воткнув упрямый взгляд в кучу поленьев, думал, соображал что-то.

— Так-с... Ага-с... Ладно! — швырнул окурок в траву, решительно поднялся. — Садись, поехали.

— Куда?

— Деньги в воздухе не вьются...

Петька погнался машину по гравийке в лес. Километров через пять свернул на проселок, с него на тракторный след, который, петляя в зарослях кустов, привел к вырубке, где лежал штабель осиновых дров. Поравнявшись с ним, Петька остановился.

— Вылазь. Открываем борт и — начали.

Судя по белым срезам, а также по не совсем еще завядшим веткам, валявшимся вокруг, дрова заготовили совсем недавно.

— Чьи? — поинтересовался я.

— Наши, — просто ответил Петька. — В прошлое воскресенье с отцом и Толькой пилили. Умаялись как черти. Сейчас новому ветеринару отвезем, загоним по дешевке. Уже два раза просил... Ну, чего стоишь?

— Так ведь как-то...

— Братишка! — поднял руку Петька. — Без возражений! Наготовим еще. У бога дней навалом. Самых разных. А четырнадцатое июля одно в году. Ну, начали, начали...

Быстро скидали дрова в кузов. Туго перехватили в двух местах цепью, чтобы не раскатились. Сели, поехали.

Лихо крутя баранку, Петька объезжал пни и валежины. Был сосредоточен и серьезен. Выбравшись на проселок, переключил скорость, перевел дух, расслабился.

— Э-э-эх денек — две двойки! Наглеть, братишка, по такому случаю не будем. Стребуем с ветеринарчика два червончика и — хорэ. Берем пару бутылков, приличный закусончик и — на речку. Под кустики. На травку. А?

— Ага.

— Пропустим по одной, другой, по третьей, пойдут душевные разговорчики и все такое прочее. Ох, и гульнем же, братишеч-

ка! Сами себе будем завтра завидовать. Точно тебе говорю...

Выехали на гравийку. Разогнав машину до того, что за стеклами завыл ветер, Петька отнял руки от баранки, плюнул на одну ладонь, на другую, растер, потряс кисти, будто после умывания смахивал с них капли воды — лихач! — взялся за руль.

— Люблю, братишка, быструю езду! А еще люблю, — скосил на меня жуликовато заигравшие глаза, — чтоб все шито-крыто было.

— Как это? — не понял я.

— А как сейчас, — Петька вдруг резко тормознул, подрулил к обочине, остановился.

— Колесо спустило? — встревожился я.

— Да нет, второе.

— Что?

— В носу у меня никогда зря не свербит. Проверено. Вот и сегодня: дровишки-то мы ведь это... сбондили, — Петька самодовольно захохотал.

— Брось шутить.

— Какие шутки? Точно. Но все шито-крыто. Теперь мы от того места, где брали, далеко. Попробуй, докажи кто-нибудь. Айда в тень, перекурим это дело. Как-никак я здорово переволновался.

— Нет, в самом деле дрова чужие?

— Теперь, братишка, — наши. Через полчаса будут ветеринарчиковы. А мы будем при деньгах.

— Ну, ты даешь, — сказал я мрачно. Такой оборот дела мне не нравился.

— Даем, — поправил меня Петька и вольно распластался на траве в тени березы.

— Так чьи?

— А хрен их знает, — по голосу Петьки я понял, что он врет.

— Как-то нехорошо получается.

— Не все плохо, что нехорошо. День-то, братишка, какой! Две ж двойки. Отметить надо. И вообще...

— Заладил: день! день! За счет чужого горба отмечать-то будем. Так выходит. Человек старался, готовил...

— Человек, говоришь?! Шкура, а не человек! — Петька резко поднялся, сел. —

Бондарева эти дрова, если хочешь знать! Понял?!

— Вот ему и отвезем. Поехали, — я решительно встал.

— Ему-у-у-у?

— А чего? Спасибо скажет и трояк даст.

Петька посуровел, тоже встал.

— Чтоб я ему! Во! — и поднес к самому моему носу выразительную жесткую фигу. — Не надо мне ни его спасибо, ни трояка! Да я, падла, шас свалю их прямо вот здесь, бензином оболью и подпалю! Понял! Ты что, там, в своем городе, все забыл, да? Забыл Бондаря?!

Бондарева я хорошо помнил. Во время войны — тогда мы с Петькой еще под стол пешком ходили — Бондарев работал завхозом в райпотребсоюзе. Рассказывают, поизмывался над солдатами. Даст лошадь привезти сена или чего там, потом подкатывается. Глазки у него маленькие, белесые, харя красная, сытая. Однажды у магазина встретила его тетя Поля Власова и давай хлестать руками по этой харе да причитать: «Окаянный! Ты сгубил моего Шурку, ты!» Бондарев в кошевку — и умчался. А тетя Поля грозила ему вслед кулаком и кричала: «Когда-нибудь отплатится тебе мои слезки, отплатится, проклятый!..» Сын тети Поли, Шурка, был инвалидом от рождения: его левая рука висела мертвой плетью. Работал он бухгалтером в райпотребсоюзе. Ревизоры нашли в документах что-то неладное, и Шурку осудили на два года. Но все говорили, что в тюрьму нужно было идти не ему, а Бондареву, потому что мошенничал он. Зимой сорок седьмого мы с Петькой видели, как домой к Бондареву пришли два милиционера, забрали его и повели. Он шел впереди с мешком за спиной, а милиционеры сзади. «Садить повели», — шепнул мне Петька. «А в мешке что?» — спросил я. «Сухари, наверно. Ведь жуликов в тюрьме не кормят». Но под вечер Бондарев пришел назад. Без милиционеров и без мешка. Как мы узнали потом, в мешке он носил в банк деньги, менять на новые, — была как раз реформа, — а милиционеры охраняли его. Однако вскоре Бондарева посадили в самое дело. Пять лет да-

ли. «Так и надо, — говорили все. — Сколько веревочка ни вьется, а конец бывает». После заключения Бондарев работал конюхом в лесхозе, потом перешел экспедитором в пекарню и, поговаривают опять можно смело судить. Возможно, и не зря говорят. Но все-таки...

— Ты забыл, как наши с тобой матери зимой по морозу весь день маялись, дрова готовили, а мы с тобой сидели у вас дома и ревели? Думали, что матерей волки загрызли. Зря, конечно, ревели. А они зря старались. На другой день поехали, а дров-то — тютю. Они уже во дворе Бондаря были. По зарубкам определили. Ты забыл это?

— Помню. Было.

— Вот так! Тогда Бондарь сбондил, а теперь мы у него. И выходит — квиты.

Не найдя, что на это возразить, я молчал. А Петька, отпуская в адрес Бондарева словечки не менее выразительные, чем его фи́га, говорил зло и напористо:

— Будь моя воля, я б его собственными руками удушил, потом сел бы на бульдозер, перемешал с землей его хоромину, высморкался бы на том месте вот так, — показал, как, — и уехал бы! Понял?!

— Понял. И все-таки это не дело. Бондарев готовил...

— Братишка! — простонал Петька. — Он готовил!? Ты ж ни шиша не знаешь. Грузчик и кочегар пекарские готовили в рабочее время. В понедельник я в Шиловку ездил, подбрасывал их. По доброте своей — ты меня знаешь — до самого места довез, показал, где хороший осинник. А так — откуда бы мне знать, где дрова. Соображаешь?.. Садись и поехали. Не забывай, что магазины работают не до двенадцати ночи...

— К дому Бондарева, — твердо сказав я, направляясь к машине.

Петька окатил меня злым взглядом, но ничего не сказал.

До самого села ехали молча. Перед маслозаводом Петька свернул с центральной улицы в проулок, ведущий на улицу Береговую. Бондарев жил на Береговой. Ветеринар в другой стороне — возле клуба.

«Дошло, значит», — подумал я. И тут же

ощутил в себе некоторое разочарование, наверное, вызванное тем, что по проулку ехать — не то что по центральной улице: ухабов, колдобин больше...

Поравнявшись с домом Бондарева, Петька остановился. Решительно вылез из кабины. Подчеркнуто строгий и важный, обошел машину спереди, уже ступив на мосток, налаженный через канаву, приостановился, испытующе покосился на меня. Странно, но чувство разочарования во мне почему-то усилилось.

— Значит, я пойду скажу, мол, привезли, где велите сваливать... — и тут, как бы между прочим, Петька чиркнул глазами по заднему колесу, насторожился. Подошел к нему, внимательно осмотрел. Пнул баллон раз, другой.

— Пока вроде нормально!

Повернулся к бондаревским окнам, насмешливо и презрительно сощурил глаза, звучно высморкался, провел рукавом под носом. По-прежнему весь из себя строгий, сел за руль и лихо помчался дальше.

Разочарование в моей душе уступило место тихому восторгу. Я засмеялся:

— Ну и жук же ты!

Я видел: Петька был восхищен самим собой. Не находя больше нужным сохранять деланную строгость лица, он позволил шельмоватой улыбке растянуть губы.

— Все, братишка, нормально... А признайся честно: ведь заскулила же твоя душонка в тот самый момент.

— Ничуть.

— Скажи кому-нибудь другому, а мне не надо...

По другому проулку выехали опять на центральную улицу.

— Еще чуть-чуть, братишка, и ты услышишь хруст червонцев в моих руках. Э-э-э-э-э и гульнем же!..

Возле школы дорога наполовину ширины была перекопана. Ремонтировали теплотрассу. На другой половине стоял грузовик. Рабочие, закончив смену, неторопливо бросали в кузов лопаты, ломы, кайла. Шофер, облокотившись о крыло, покуривал.

— Во, Федя! Нашел, где стать!

Затормозив, Петька подал сигнал. Шофер — ноль внимания. Рабочие покосились в нашу сторону, осклабились, но темпов не прибавили.

— Паразиты! — Петька высунул из кабины голову. — Вы чего как!..

В это самое время с Петькиной стороны откуда-то вывернулся неожиданно старик Мясников. Поставив палочку на подножку, пропел:

— Здравствуй-ка, Петё-е.

Петька бросил на него небрежно-равнодушный взгляд.

— Здоров, дед... Охломоны! Да что вы там телитесь!..

— Дровишки-то, Петё, кому везешь? — поинтересовался старик.

— Да тут... по одному адресу, — посигналил еще раз, попродолжительнее. — Ну, шкуры! Ну, клячи водовозные!

— Может, уступил бы мне, Петё?

— Никак не могу, дед. Я обещал человеку.

— Да-а ты и мне обещал. Еще по весне, — старик легонько засмеялся и смутился чего-то.

— Серьезно? Значит, дед, жди, привезу. Только не сегодня... Нет, ну ты посмотри на этих фраеров?

— Чего? — не понял старик.

— Вон, — кивнул Петька вперед. — Три дня в лапти обуваются.

— Однако больше, Петё. С неделю уж роют.

Мы с Петькой переглянулись, засмеялись. Дед тем временем посмотрел в кузов.

— А дровишки-то, Петё, ничего. Не больно толсты. Нам бы со старухой в самый раз ширкать потихоньку. Мы бы их порезали, покололи, они б сохли. А, Петё?..

— Чего, дед?

— Говорю, свали нам.

— А ты, дед, юморной.

— Да-а не задаром. Я тебе еще и на чекенчик добавлю. Как?

К последним словам старика Петька проявил самый живой интерес, призадумался.

— Говоришь, на чекенчик?

— Тебе ж все равно, кому свалить...

— Нет, до чего все-таки настырный ранешний народ, а?! — Петька прошил старика долгим оценивающим взглядом и сдался: — Братишка, двигайся поближе ко мне. Лезь, дед, в кабину... Да не с этой же, с той стороны. Да поживей... Палку-то между ног пристрой, что ли, а то глаз мне выткнешь. Спортсмен! Поехали. Держись, дед... за воздух зубами!

Петька сдал назад, развернулся. Через какую-нибудь минуту остановился у ворот Мясниковых.

— Хорош, дядь Тимофей?

— Самый раз, Петё, самый раз.

— Тогда разгружаемся.

Заслышав гул мотора, от крыльца к калитке зашаркала калошами по дороге тетя Даша.

— Ой да никак, Петё, нам привез?

— Нет, не вам, — бросил Петька, берясь за цепь.

— Тогда кому ж?.. — оторопела старушка.

— Мясниковым, тетя Даш.

— Ой, обманчик, — залилась та смехом, — прямо тошнехонько! Спасибо тебе, Петё, спасибо, родненький.

— погоди спасибовать, тетя Даш, еще ругать меня будете.

— Пошто это? — опять насторожилась бабка.

— Хочешь — не хочешь, а их же пилить надо. Но я не приду. Сами парьтесь.

— Ой, Петё! Знамо дело — сами! Знамо дело! Чего ж ты-то! И так услужил, дай тебе бог здоровычка. А что мы с дедом упаримся, — засмеялась, будто сорока застрекотала, — так жарче гореть будут.

— Чем языком-то молоть, шла бы в дом за чем следует, — строго распорядился дед. И тихонько: — Да на чекенчик прибавь. Я обещал Петру.

Бабка послушно ушла в дом. Дед сунулся было к нам с помощью, но Петька взял его за локоть.

— Вот, дядь Тимофей, лавочка. Культурненько сядь и покури. От тебя, комара, пользы-то...

Повинуясь Петьке, старик засмеялся:

— Эт, верно, Петё, — одна помеха.

Мы открыли борт. Дрова с грохотом скатились на землю. Те чурбаки, что остались в кузове, быстро сбросили и подняли борт.

— Порядок! — Петька достал папиросу и коробок. Спичек в коробке не оказалось, швырнул его в сторону, направился к старику, который в это время спросил:

— Ну, сколько тебе, Петё?

Петька оставил вопрос без внимания.

— Прикурить, дядь Тимофей, дай.

Старик зажег спичку, почтительно поднес ее Петьке. Петька прикурил, затащился хорошенько, кивнул на дрова:

— Как, дядь Тимофей, на зиму хватит?

— С углем-то? Куда еще. Большое тебе, Петё, спасибо.

— Смотри, дядь Тимофей, а то я еще могу.

«Ну ловкач! — подумал я о Петьке. — Цену набивает».

— Ха-а-атит. Дак сколько, спрашиваю, возьмешь-то?

Петька вынул изо рта папиросу, помял.

— Не поскупись, дядь Тимофей, зажди еще одну. Потухла, зараза.

С прежним почтением дед поднес Петьке огоньку.

— Теперь нормально, — повернулся ко мне: — В кабину, братишка, и поехали.

— Как — поехали? — не понял дед.

— С ветерком, дядь Тимофей. Люблю быструю езду! Ну, пока.

— Дак, а деньги-то? Счас старуха вынесет. Дашка-а! Тебя там черти с квасом съели, ли че?

— Ша, дед! — Петька повелительно поднял руку.

— Еще заедешь, што ль? — растерянно спросил старик.

Петька завел мотор, хлопнул дверцей.

— Будь здоров, дед!

Старик пожал плечами. Он ничего не мог сообразить. Как, впрочем, и я.

Петька уже включил скорость, когда распахнулась калитка. В одной руке тетя Даша держала литровую банку с молоком, в другой, поднятой выше головы, кружку и деньги.

— Петё, куда ж ты, милой! Попейте молочка. Из погреба. И деньги! Деньги-то!..

Ничего не видя, не разбирая, тетя Даша двинулась прямо на капот машины. Но остроносые калоши ее запутались в траве, бабка взмахнула руками, молоко выплеснулось и угодило прямо в лицо деду, банка упала на землю и покатила к дровам, кружка полетела в другую сторону. Бабка едва-едва устояла на ногах.

— Ну, циркачи! — захохотал Петька и поддал газу.

— Так ты чего! — схватил я Петьку за локоть.

— Братишка, ру-ки! Я ж за рудем! — зажав в зубах папиросу, Петька горделиво смотрел на дорогу.

— За две спички — машину дров. Так, что ли?

Петька ухмылялся и молчал — дразнил меня.

— Чего накуролесил?! День-то какой! Две ж двойки!

Петька горестно вздохнул:

— Если ты, братишка, человек, а не охапка пустяков, то прошу: не заострай осколков, что я сам всадил в свою душу. Ты же должен видеть: мне больно и я чуть не плачу, — он притворно всхлипнул и шмыгнул носом.

Нет, ну как тут было не восхититься Петькой! И все-таки я сказал ему с укором:

— Вот и гульнули. Как-то нехорошо получается.

— Я ж тебе говорил: не все плохо, что нехорошо...

В ларьке возле столовой продавали пиво. Облокотившись об узкий прилавочек, несколько мужиков, не торопясь, прикладывались к кружкам. Представив вкус пива, я сглотнул слюну. И на душе сделалось тоскливо.

— Братишка. Слышь? — позвал меня Петька, не отрывая глаз от дороги.

— Ну?

— Под тобой мой пиджак, в нем — деньги. Найди.

Я воспрянул духом. Благодарно покосившись на Петьку, проворно вытащил из-под себя пиджак. Обшарил карманы. Но никаких денег не обнаружил. Только выложил на ла-

донь несколько монет, вывалявшихся в табачной пыли.

— Ну, что? — поинтересовался Петька.

— Тоже мне — деньги, — сказал я иронически. — Семьдесят восемь копеек.

— Да у тебя?..

— ...Двадцать три.

— Ого! Это ж на четыре кружки пива! И еще на спички останется! Гульнем, братишка!..

Поставили в гараж машину, вернулись к ларьку. Петька сунул в окошечко зажатую между большим и указательным пальцами стопку монет.

— Налей-ка, Вера, четыре. На лишние — спичек.

На узком прилавочке закучерявились белыми барашками пены кружки.

— Ну, братишка, настал момент! Торжественный и чудный! Врежем за мои двойки. По две на каждую приходится, — тоскливо вздохнул: — Если б сейчас еще хоть дедов чекенчик... Но ладно, где наша не пропадала. Давай...

Петька выплеснул под штaketниковую ограду пену, широким жестом утер губы.

— Айда на реку.

...Солнце уже зависло над самым лесом. В тени прибрежных кустов было прохладно. Пахло ивняком, травами, тиной. Мы сели на обрывистый бережок. Петька медленно набрал полную грудь воздуха, резко выдохнул:

— Хорошо!

Закурили, посидели молча.

— А все-таки, братишка, день-то какой, а! — и захохотал вдруг. — А мо... молоко прямо на физию деда! ...Удохнуть можно! Скажи? — и дальше восхищенно: — Нет, все шикарно получилось! Обычно вот вянет душа. А сегодня — цветет! Да-а-а, день! Волнительный! — Петька свободно распластался на берегу, как тогда, под березой.

А моему восторгу, теснящемуся в груди, все-таки мешало вырваться наружу маленькое сомнение. Не все плохо, что нехорошо. Может быть. Я не чувствовал себя большим грешником, но хотелось знать: как полно искупает наше **хорошо** наше же **плохо**?

Для Петьки этот вопрос был решен. И вот он лежит, блаженствует. Он будет долго так лежать и смотреть чистыми глазами праведника в чистую синеву неба, на котором скоро загорятся звезды. Загорится и Петькина, та, под которой родился он ровно двадцать два года назад. Загорится и моя.

Может, наши звезды совсем рядом, но они разные. И потому Петька, безмятежный, счастливый, будет смотреть в небо, а мне надо подумать. Хотя бы немножко... День был такой необычный. И может, я буду вспоминать его и думать о нем еще много-много раз.

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ

По воскресеньям Василий Валов поднимался позже обычного. Не торопясь — куда в выходной торопиться? — управлялся по хозяйству, завтракал, ложился на диван, смотрел в потолок. Но не долго: он непривычный был ничего не делать. Возле дивана стояла тумбочка, а на ней — стопкой газеты. Начинать Василий с «Известий» и «Сельской жизни». Прочитывал новости, разные заметки, статьи, какие поинтереснее. Поудивлявшись, — «и чего только человек не изобретет», — повозмущавшись, — «мало побивали, опять воют», а то и похмыкав недоверчиво, — «и откуда такое выкопают», — откладывал газеты в сторону. Брал районную «За урожай». Он ее специально напоследок оставлял. Разворачивал с легоньким — самому себе почти незаметным — волнением и с крошечной тайной надеждой: а вдруг и сегодня про него написано? Случается, что пишут. Не часто, но случается. Не сказать, что Валов много о себе мнил, однако кому не лестно увидеть в газетке свою фамилию промеж других. Бывало, что и не промеж. Бывало, что и портрет его помещали, а под ним — маленькая статеечка.

А недавно совсем, осенью... Вспоминая это, Василий испытывал двойственное чувство: и приятно, и как-то неловко делалось. Солому убирали. Только начали второй зарод — подкатывает газик, выходят двое и прямо к Василию. Корреспонденты, оказывается. Один аппарат достал, другой — блокнотик и ручку — и начали. Который с аппаратом, тот — «станьте-ка сюда», «повернитесь-ка так», «голову чуть выше». А который с блокнотиком, — молодой, совсем еще парнишка, и вертлявый, — тот вопросы зада-

вал. Один за другим, прямо как из мешка горох. И все какие-то... Ну, не то, чтоб совсем смешные, а... не вдруг-то и ответишь на них. Да чаще и отвечал-то корреспондент сам же, да так ловко, складно, что Валову оставалось только поддакивать. Василий еще подивился: молодой, и когда успел так натореть? Ну будто по-писаному чешет! Пока один аппаратом отщелкал, а другой в блокнотик что надо записал, с Василия семь потов сошло.

А через недельку статья в газетке вышла. «Наставник» называлась. От верха до низу три колонки. Посередине — портрет. Прочитал Валов и немного не по себе стало. Нет, все складно, хорошо и вроде ничего не выдуманно, а чего-то людям на глаза появиться стыдно было. И о том молоденьком корреспонденте как-то не очень хорошо думалось. Хотя все правильно написано было. Шут знает, что такое...

С легоньким волнением и крошечной тайной надеждой Василий развернул последний номер районной газеты. На первой странице справа статья называлась: «Беречь народное добро». «Верно, — согласился Василий, — надо беречь», — и машинально глянул вниз: кто писал? Валову всегда почему-то нужно было узнать, кто писал, хотя фамилии под статьями и заметками ему, как правило, ни о чем не говорили. Эта статья была без подписи. Глаза побежали по широкому столбцу вверх и зацепились за что-то очень знакомое. И остановились «В. Валов...» За собственную фамилию зацепились глаза. Пальцы от усилившегося волнения крепче сжали края газеты, Василий отыскал начало предложения и прочитал: «Так, районными народными

контролерами установлено, что механизатор совхоза «Восход» В. Валов прошлым летом похитил на строительстве животноводческого комплекса шифер и покрыл им собственную баню». Смысл этих слов до сознания Василия не дошел. Но Валов почувал: смысл прочитанного — нехороший. Лоб мгновенно взмок. Прочитал еще раз, помедленнее и задумчивее. И дошло...

«Мать честная! — Диван скрежетнул пружинами, Василий встал, отбросил оконную штору. — Дом у меня под железом», — взгляд, чуть задержавшись на крытой тесом стайке, метнулся на баню. Крыша ее была шиферной! Но какой же еще она будет, если крыл — шифером? Сходится. О нем написано! Вот это номер...

— Галина! — позвал Василий.

Жена не отозвалась.

— Галина, — позвал еще раз.

В комнату заглянул Генка, сынишка.

— Ты чего, пап?

— Где мать?

— Так к тете Вале же поехала, — засмеялся Генка. — Сам же ее до автобуса провожал. Забыл, что ли?

— Выходит, забыл...

— Ну ты даешь! — Генка залился смехом и притворил дверь.

«Так это что же, а?» — Василий вышел в переднюю, сунул ноги в валенки, накиннул пальто, шапку надел уже в сенях.

Он, не отрывая глаз, смотрел на шиферную, чуть припорошенную снегом крышу бани и потому не заметил, как почти носом к носу столкнулся на улице с Петром Свиштуновым, соседом.

— Ну, а на стайку-то когда приволокешь? Другие шустряки растащут, пока надумаешь. Привет!

— Здорово...

— Напишут же, мать иху так! И где только что возьмут.

— Петро, да я ж еще восемь лет назад! — с жаром начал Василий. — Еще когда дом...

— Мне-то ты что рассказываешь, — перебил Свиштунов. — Первый день тебя знаю, что ли? Плюнь ты. Твоя совесть не замарана — и не переживай.

— Легко сказать: не переживай.

— Приятного, конечно, мало...

— Начнут перемалывать. А на каждый роток, сам знаешь...

— Во, слушай! — сосед хлопнул Василия по плечу. — А напиши-ка ты опровержение в газету.

— Как опровержение?

— Ну, мол, так и так, вранье все это, любой подтвердит.

— А что. Оно, пожалуй, верно.

— Мол, вся деревня меня знает как советского трудящегося и честного передовика. А?

Василий поразмыслил.

— Ты, конечно, дело говоришь, но... как я сам-то про себя? Неудобно...

— А чего тут неудобного?

— Видишь, какое дело...

— Ну?

— Допустим, вот мы с тобой, Петро, двенадцать лет соседствуем. Скажи: я хоть что-нибудь чужое?..

— Да какой разговор!

— Ну вот ты бы и...

— Что?

— Ну это... Только не пойми, что я тебя подговариваю или там... А если есть желание — напиши. В редакцию.

Петр переступил с ноги на ногу, кашлянул.

— Оно, Василий, конечно. Оно можно б... Но ведь — кто я? Сосед. По-соседски я тебя знаю, а работаем-то мы: ты в совхозе, я в больнице... А дело-то оно такое... газета, брат. Коснись чуть чего... вот тебе и — пожалуйста. Словом, — только ты не серчай, — лицо-то я частное, — пожегился. — Ветрище, зараза!

— Частное, — согласился Василий, и он раздосадовался на себя за то, что, не подумав как следует, стал просить Петра о том, чего он не может.

— Другое дело — механизаторы, с кем работаешь. К примеру Колька Басов. Твой ученик. Он не должен отказать.

— Вообще-то верно...

— Да дело я говорю. Вот и давай прямо к Кольке... — Петро втянул голову в плечи. —

Вроде и ветришко-то никудышный, а продувает—до костей. В общем—давай. А я—сам посуду — как?..

Колька не откажет, — рассуждал Валов, быстро вышагивая по безлюдной, к счастью, улице, — не должен. Все-таки ж я его учил. Доказал начальству, что новый трактор надо дать парню. Да и вообще он как младший брат Василию. Не зря в той статье, что осенью напечатали, и Колька фигурирует... Не должен отказать...

— О! Это ведь сам бог тебя послал ко мне! — обрадовался Колька приходу Василия и, почти насильно стянув с него пальто, потащил гостя к столу. — Я в честь выходного рюмаха пропустил, а вторая — не идет. Не могу один. Натаха, ну-к угощай нас.

— Ну неужели без отравы этой нельзя просто посидеть да поговорить, — бурчала Наталья, жена Николая, ставя на стол початую поллитровку и закуску. — Только об ней и думаете.

— В честь выходного, Натаха, сам господь велит. Огурчики не забудь.

— Сидел бы уж со своим господом, — поставила тарелку с огурцами. — Нарезь сам, — и удалилась в горницу.

— Видал, — подмигнул Николай, — строжится. Не любит выпивок. Но с тобой все-таки позволяет. Уважает тебя.

«Не знает еще», — решил Василий и вытащил из кармана брюк газету.

— На-ка вот, прочитай.

— Что?

— Вот это место.

Николай прочитал, хохотнул.

— Брехня, Васюха. Ты не из таких. Будто я тебя не знаю.

— Но написано же.

— Мало чего ни напишут. Бумага все стерпит. Не поддавайся на провокацию. Как твой ученик бывший, а теперь кореш, говорю.

— Я к тебе как к товарищу и пришел, — вздохнул Валов.

— И правильно сделал. Сейчас опрокинем по одной-другой, и все уймется. Ты не воровал — вот и все. Подымай.

— Об чем это вы? — высунулась из горницы Наталья.

— Да вот, — показал Василий газету.

Наталья прочитала и ахнула, даже чуть мимо табуретки не села.

— Так это ведь что теперь будет-то? Таскать начнут...

Валов не притронулся к стакану. После Наталиных слов «таскать начнут» нехорошо ему сделалось, зануло в груди.

— Слушай, Николай. Я ведь учил тебя... Друзья мы с тобой, работаем вместе... — Василий оборвал себя: как-то жалостливо звучали его слова, самому противно было слушать, и сказал прямо: — В общем, если, конечно, можешь, напиши опровержение.

— Это что? — не понял Николай.

— Ну письмо такое в газету. Что ты меня знаешь, что... не в моем это характере...

— Усек, Василий! Хоть щас! — отодвинул стакан. — Натаха, тащи тетрадку и ручку.

— А что ты писать-то станешь? — поднялась Наталья. — Кто ты такой, чтобы писать? Корреспондент нашелся.

Николай пристально посмотрел в глаза жене.

— Я еще лучше корреспондента напишу, какой Василий Валов честный человек.

— Он же меня, Наталья, знает... — и опять Василию стало противно от своих слов: будто вымаливает.

— Тебя-то знает. А про шифер?

— Да никакого шифера он не брал, — почти прокричал Николай.

— Ты-то почему, спрашиваю, знаешь?

— Знаю! У меня доказательство есть! Вот мы с Василием работали на тракторе, да. У нас пускач забарахлил. Я говорю: «Давай тихо так снимем у Вальки Тенекова — и порядок». А Василий... Знаешь, что он мне сказал на это?... Как рубанул! И стали мы перебирать свой пускач. Было, Василий?

Вроде случай такой был. Но что он тогда «рубанул», Валов не помнил.

— Тащи, Натаха, тетрадку.

— Умоляю! — повелительно сказала Наталья мужу и обратилась к Валову: — Ко-

нечно, Василий, про тебя никто худого слова не скажет, но...

— Погоди, Натаха...

— Нечего годеть! Писать ты не будешь!

— Имею право! Не запретишь!..

— И тебя пропечатают. За ложные показания.

— За какие еще ложные?!

— В статье-то, по-твоему, что, вранье, с потолка взято? Ведь там же написано: контролеры проверяли. Это дело не шуточное.

Против такого довода жены трудно было что-либо возразить, Николай задумался.

— Наталья, не брал я, — тихо и безнадменно сказал Валов.

— Факт — не брал, — подтвердил Николай, но уже как-то не очень горячо.

— Я тебе сказала: замолкни!

— Не скандальте вы, — поднялся Василий.

— Ты чего? Погоди, — Николай тоже поднялся.

Наталья толкнула его ладонью в грудь:

— Сядь!

— Я шас к тебе приду, — сказал вдогонку Николай.

«Нет, Колька, — подумал Валов, — слабак ты против нее. Хороший парень, но — слабак...»

Валов брел по улице, воткнув взгляд под ноги. По сторонам смотреть боялся: ему казалось, что все прильнули к стеклам окон, показывают на него пальцами и говорят нехорошие слова. Вот уж точно: без вины, а виноватый.

В проулке, который вел к почте, меж домами мелькнула желтая «Лада». Катил она сюда, на главную улицу. «Белохвостов!» — испугался Василий. Желтая машина была в селе только у него, Мирона Белохвостова, парторга совхоза. Валов на мгновение представил, как сейчас выскочит из проулка «Лада», поравнявшись с ним, остановится, и Белохвостов, приоткрыв дверцу, скажет с ласковым — один он так умеет — ехидством: «Что же это ты, товарищ Василий, а? Хотя бы предупредил, а то для меня эта статья

как снег на голову. Нехорошо-о-о, нехорошо-о-о, товарищ Василий», — и поддаст газу.

И Василий заметался на дороге. Справа ограда механических мастерских. До ворот не успеть добежать — «Лада» выскочит из проулка раньше. Слева — дома: главного агронома, — у него Валову делать нечего, — следующий Ивана Кудинова, совхозного механика. Вот к нему... к нему можно. Даже не то что можно, а сразу б дураку к Ивану идти. Кудинов человек прямой, юлить не станет. Он в любом деле: ДА или НЕТ; Валова, своего подчиненного, наизусть знает, как и любого тракториста. Бывает, характеристику напишет, и все в ней точка в точку...

Переступив порог и мельком взглянув в лицо Кудинова, Василий понял: читал.

— Проходи, — Иван подвинул Валову стул, достал папироску, закурил.

— Ну, как меня разделили-то? — полюбопытствовал Василий, вымучив улыбку.

— Не разделили, — Иван тоже скупой улыбнулся — не любил улыбаться, — а только, как говорится, под девятое ребро.

— С людьми совестно встречаться. Дожил, мать честная, — и, пересилив себя, Василий сразу же перешел к делу: — Ты, Иван, знаешь меня...

— Да, наверное, знакомы.

— Так вот как руководитель мой, значит, начальник, можешь написать опровержение?

Кудинов ответил сразу, будто ждал этого вопроса:

— По работе, Василий, как механик, я все могу написать, что хочешь. А опровержение, согласись, — это уже не работа.

— Значит, не веришь. Да не брал я шифера, ни листа. А баню перекрыл еще восемь лет назад. Все ж знают.

— И я знаю. Знаю, что ты толковый, работающий и все прочее. Конечно, я не видел, чтоб ты шифер брал, нет доказательств. Но и что не брал, у меня доказательств нет. Не сердись. Ты знаешь: я что думаю, то и говорю. Может, ты его, шифер-то налево спустил. Чужая душа, сам знаешь...

— Да ты что, Иван!..

— А давай так рассудим: не про меня же почему-то или про кого другого написали,

а — про тебя. Значит, что-то такое было?..

— Да если б было, пришел бы я к тебе? Ты подумай...

— Опять же — не сердись. Есть такие деятели, которых за руку схватят, а они кланутся: «Не брал!». Знаю: не жулик ты, не ловкач, но... — Кудинов развел руками. — Хватит об этом. Давай о другом. Ты как раз нужен мне. Трактор у тебя на ходу?

— Как всегда.

— Завтра с самого утра поезжай в Сельхозтехнику. Я два коленвала выбил, надо срочно забрать. Вот уверенность...

— Надо, значит, надо, — Василий встал.

— Ну, будь здоров.

Галина вошла в дом, когда Василий выгребал из подушки золу.

— Ну кто так делает, Василий? Смотри, пылица-то под самый потолок!

— Пылица, пылица! — взорвало Валова. — Ты вон газетку почитала бы!

— Знаю, — ответила жена. — Со всем Валентининым семейством читали.

— Ну и как?

— Посмеялись. А что еще?

— Успокоила: посмеялись. А тут хоть в петлю.

— Если бы люди по всякому пустяку в петлю лезли — на земле уже давно пусто было бы. Завтра сходи к Белохвостову, пусть он тебе объяснит, что к чему. А потом уж и вешайся.

Валов обругал себя самыми последними словами. Ну не бестолочь ли?! Вместо того чтоб к Мирону Белохвостову, он по дворам пошел. Не сообразил с горячки.

— Может, сейчас сходить?

— Чего людей беспокоить. Ночь уже...

Получив коленчатые валы, Василий, не мешкая, тронулся в обратный путь. На центральной усадьбе он рассчитывал быть часам к одиннадцати. В это время парторга еще можно застать в конторе. Позже — почти безнадежно: поедет по отделениям или в район укатит.

Когда проезжал по улице Горького, глаза скользнули по фасаду белого одноэтажного особнячка и вцепились в вывеску, которой раньше Василий почему-то не замечал: «Редакция районной газеты «За урожай». Валов затормозил.

Постучал в дверь с табличкой «Редактор» и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь.

— Можно?..

— Пожалуйста. Проходите.

— Здравствуйте.

Редактор не успел ответить на приветствие: зазвонил телефон.

— Новиков слушает... Разобрался, МIRON Иванович, — редактор покосился на Валова. — Вся штука в том, что инициалы и фамилия те, а хозяйство другое. «Заря» имеется в виду... Да нет. В оригинале и корректуре «Заря» стоит. Но понимаешь, по номеру дежурил литсотрудник, новичок, всего три месяца работает. Он о вашем-то, — редактор опять покосился на Валова. — зариловку недавно писал. «Наставник» называлась, помнишь?.. Так вот. Видит, фамилия та же, а хозяйство другое — исправил. Вот тебе и ляп... Так не оставлю, конечно... Оправдаем вас, МIRON Иванович. В завтрашнем номере дадим поправку... Дадим, дадим МIRON Иванович... И я бы, конечно, возмущился. Понимаю, чего же. Ну, будь здоров... Не сержусь. Нет. Будь... — редактор положил трубку и обратился к Валову:

— Слушаю вас.

Василий встал.

— Да вы сидите.

— А чего рассиживаться? У вас своя работа, у меня — своя.

— Но вы же, наверное, по делу.

— Мое дело, понимаю, уже решенное. Валов я. Из «Восхода».

Тут в кабинет редактора вошел, — Василий сразу его признал, — тот самый парнишка-корреспондент, который пытал Валова осенью на поле. Парнишка тоже узнал Валова и оробел, даже остановился, не дойдя до стола редактора. Немного придя в себя, пролепетал:

— Здравствуйте.

— Да уж здравствую. А что делать-то, —

сказал Василий. — Я тебе, парень, вот что доложу. Нас, Валовых, в районе... Считай, вся деревня Валово из Вятской губернии сюда переселилась. Еще до революции. Деревня-то одна, а люди разные. Так вот.

— Я не здешний, не знал...

Валову хотелось сказать корреспонденту что-нибудь резкое, колкое, но до того же жалконько парнишка выглядел.

— До свидания, — кивнул Валов редактору.

«Положим, не знал. Не успел. Ладно. Хуже, парень, другое, — думал Василий, идя к своему трактору. — Тот раз ты до стыдобушки исхвалил меня, а на этот раз — изругал. И глазом, поди, не моргнул. Так все-таки кто же я по-твоему: герой или жулик?.. Нет, не уважаешь ты людей...»

Во вторник давали зарплату.

Валов — специально так подгадал — подошел к кассе, когда возле нее уже никого не было. Над окошечком висела приколотая кем-то сегодняшняя газета «За урожай». Справа внизу Василий заметил жирно подчеркнутый синими чернилами заголовок: «Поправка». Ниже — маленькая статейка. Василий не стал ее читать. Сказал в окошечко:

— Здорово были, Наталья.

Наталья Басова вместо ответа на приветствие спросила:

— Чего не читаешь-то?

— Ладно. Давай ведомость, да пойду я.

— О! Заторопился он! Что мне, Василий, вчера Валька, секретарша директора, говорила! С самого утра, говорит, директор и парторг как начали возмущаться, как начали. Мол, на весь район Валов опозорил. В народный контроль, потом в редакцию звонили. Полдня разбирались. Вот сегодня-то и напечатали. Оказывается, это заринский Валов-то, Витька. Его Мишка Котов хорошо знает. Говорит, пропойца и вор...

— Вот видишь. Наши мужики даже заринских хорошо знают. А ты меня — нет.

— Как это — нет... — не поняла Наталья. Но тут же сообразила, что имеет в виду Ва-

лов, посуровела: — Знаешь, Василий, ты на меня не сердись. Ну кто я или Колька мой? Кто нас послушает. Мы люди маленькие...

— Но люди же? Хоть и маленькие?

— А у парторга с директором — власть. Это их дело — разбираться да добиваться.

— Их, — согласился Василий. — Понятно, их. А если б ни директоров, ни парторгов не было? Тогда бы как?

— А куда они денутся? — вытаращила глаза Наталья.

— Никуда, конечно, не денутся. Я говорю: если бы. Если бы их не было? А были бы только ты, я, Колька... Ну все, кроме начальства. А?

— Ты выпивши, что ли?

Василий не стал больше ничего говорить. Расписался в ведомости, сунул деньги в карман полшубка и вышел на улицу. Возле крыльца стояли несколько мужиков, — откуда взялись, ведь только что никого не было, — среди них Колька Басов и Иван Кудинов. Увидели Валова — загалдели, загудели.

— Тебе, Васюха, почет и уважение. Уже каждый день пишут.

— Скоро про тебя роман составят.

— Ты у него, паршивца, баню-то обдери. Мол, выстрадал, шифер-то.

Иван Кудинов пробасил:

— Ну вот и все ясно стало. А ты переживал. Да иначе и быть не могло.

— Правду кривда не заслонит. Молодец, Василий, — Колька Басов ухватился за Василеву руку, потряс ее.

— Вспрыснуть это дело. Как раз получка. А, Василий?

— Да нет. Устал, — уклонился Валов и зашагал вдоль улицы.

Проходя мимо дома Свистунова, подумал о Петре:

«Ты-то тоже поздравлять будешь?»

Только подумал так — увидел Петра. В пиджаке, без шапки, он выходил из двора Валова. В руках газетка.

— Хо! Идешь? Да ты, брат, приосанься. Вот, тут написано...

— Знаю.

— Уже? А я только что прочитал — и сразу к тебе. Вот ведь сукин сын! Напутал. Но разобрались. Есть правда.

— Куда б ей деться... А ты раздетый-то не стой. Ветрище вон какой — продует, — намекнул Василий.

Петро намека не понял.

— Да ни хрена со мной не сделается.

— А я что-то уморился. Пойду...

Валов в самом деле почувствовал себя теперь, когда все кончилось, разбитым, устав-

шим. Он не стал ничего делать по хозяйству, не стал ужинать, не смотрел телевизор. Он лежал на диване, подложив под затылок ладони, смотрел в потолок и думал.

«Какие вы все...» — мысленно укорил своих односельчан. Поднялся, достал из холодильника давно початую бутылку водки, налил треть стакана, выпил.

— До чего же горька, зараза, — утер губы ладонью, снова лег на диван.

«Но все-таки почему мы такие, а?..»

СЛЕДСТВИЕ

Константин Науменко глянул на часы: десять доходит. А Вальки, сына, все нет. И куда закатился?! Ведь знает: картошку окучивать надо...

Во дворе заскулил Король. Науменко вышел с веранды на крыльцо.

— Ну?! Жрать, что ль, хочешь? А я думал: сегодня воскресенье, так и не захочешь. — Поднял собачью алюминиевую чашку, направился в летнюю кухню.

— Костя! — послышалось от калитки.

Науменко обернулся, увидел совхозного автослесаря Михаила Губарева.

— Это... Мимо вот иду, думаю, дай скажу...

Константин подошел к калитке.

— Привет. Ну?

— Да это... Вальку-то твоего вчера вечером милиция забрала.

У Константина там, внутри, тикнуло и жгучий холодок прокатился. Но виду Науменко не подал. Такая с годами выработалась в нем черта, а может, это от рождения. Спрашивает ли начальство, почему из рейса припозднился, остановил ли в городе инспектор ГАИ, уличает ли Настя, жена, в каком неверном деле — главное не подать виду, не теряя голову, успеть сообразить и ответить в лад. А ступаешься, потеряешь власть над собой, ляпнешь с бухты-барахты несуразь какую-нибудь — и ты на крючке.

— Куда пошел-то? — поинтересовался Науменко.

— Кто?

— Да ты.

— Траву посмотреть. Скоро ж косить.

— Ну, ну... А ты откуда знаешь, что Вальку-то?..

— Сам видел. Еду на попутной, гляжу — возле райисполкома два милиционера ведут Вальку твоего и Женьку Моргунова...

Когда Константин услышал еще и про Женьку — будто что теплое коснулось его души: значит, не только Валька. И Сутунок тоже. Но тут же сообразил: а ведь если что — групповую припишут.

— За что их?

Губарев пожал плечами.

— Так из кабины ж, говорю, видел.

— Шофер чей?

— Городской.

— Ну, ну... А разболтал-то уже многим?

— Я? Никому, Костя! Никому!

— И даже бабе своей? — криво улыбнулся Науменко.

— Она ж к брату в Молдавию уехала. Вот я ее и провожал вчера.

— Ну зайді. По стопарю пропустим, — пригласил Константин, хотя знал, что Михаил не потребляет. Совсем.

— Спасибо, Костя, — улыбнулся Губарев.

— Так за что их все-таки?

— Шут знает, — снова пожал плечами Михаил. — Да, поди, что-нибудь по мелочи натворили.

— Слушай, — Науменко сжал руку Губареву выше локтя и тихо, но твердо, внушительно: — Ты тоже не видел. Понял?

— Костя! Какой разговор!..

— Ну, все...

Науменко, вдруг почувствовав в теле что-то вроде озноба, побрел в дом. «За что его?» — гадал, закусив нижнюю губу. Этот совершенно неясный безответный вопрос перебивался другим: «Что делать?». Возле крыльца Король ткнулся мордой в пустую чашку в руке Науменко, лизнул сухое дно. Константин резко остановился, до скрипа стиснул зубы и изо всей силы пнул собаку в грудь. Король отрывисто, будто ойкнул, взвизгнул, отлетел к конуре и юркнул в лазейку. Вдогонку собаке Науменко запустил чашку. Чашка ударилась краем об угол конуры и сплюснулась вареником. Хрен с ней! Зато как-то легче стало.

— Ну, паршивец, явись!..

А явится ли?.. И снова вперемешку: «за что?.. что делать...»

Главное — не терять голову и не напороть горячки. Константин прошел на веранду, сел на диван...

Вчера Валька не явился домой ночевать. Константин и Настя решили, что приехал на выходной из города Женька Моргунов, сходила парни в клуб и, как часто бывало, заночевали у Моргуновых на сеновале. А оказывается, они в райцентр укатили. Зачем? Но это, может, и не так важно, ладно. А вот что они натворили? Если по мелочи — черт бы с ним. Через пятнадцать суток — самое большое — дома будет. Ну народ, конечно, языками почешет. Черт с ним, и с народом. Велика ли от этого убыль! Только в таких случаях, кажется, еще и бумагу на работу присылают — это похуже: Валька всего три недели, как на сельповский бортовой уазик сел, сразу после курсов. А председатель сельпо из присланных и строг... Но человек же? К любому человеку можно ключик зажигания подобрать. Не к таким Константин Науменко подбирал. Чепуха все это, мелочи. А если... если такое утворили, что — суд?.. Не-ет! До суда доводить нельзя. Замять, затереть, желтой глиной засыпать. Науменко сумеет! Сумел же он сам выкрутиться, когда бабу Сазонову сбил машиной. Защитник говорил: пять лет тюрьмы — не меньше. А дали год

условно. Уже сколько времени прошло, а мужики за бутылкой все еще спрашивают, мол, как тебе, Костя, удалось. Костя не тыву на плечах носит — вот и удалось... Главнее всего время не упустить. Куй железо, пока горячо... Так что действовать надо...

— Ах, паршивец! — уже несколько успокоеннее сказал вслух Константин и поднялся, чтобы пойти в комнату переменить брюки, рубашку и взять сберкнижку, и тут он услышал, как звякнул крючок калитки. Настя с фермы, подумал. Выглянул в открытую дверь — увидел Вальку. У Константина отлегло от души. По мелочи залетел — факт! По самому пустяку. Если бы что-то серьезное — непустили бы. Он сделал вид, что не знает ничего ни сном ни духом, снова сел на диван, взял со стола старую, уже надорванную газету, — будто читает, — стал исподволь наблюдать за сыном.

Валька шел по бетонному тротуарчику как ни в чем не бывало. В ответ на обрадованный скулеж Короля цмокнул, хлопнул себя по ляжке:

— Привет, Королевич!

И веселый тон этих слов окончательно убедил Константина: ничего страшного, если даже вообще что было. Но Михаил Губарев не из тех, чтобы напутать или соврать. Что то было.

Валька переступил порог.

— Привет, пап!

— Здоров, здоров, — ответил Константин и поднял на него затаенно-язвительный взгляд. — С выходом на волю или — как?

На лице Вальки обозначилось удивление и легкая конфузливая ухмылка, щеки запунцовели.

— Откуда знаешь-то?

— Сорока на хвосте принесла. Совсем или только за сухарями?

— Чего это за сухарями?

— А улаживать как думаешь?

— Все уж улажено.

— Совсем?

— Конечно.

— Та-ак, — протянул Константин, внимательно, с прищуром вглядываясь в лицо сына. — А ну, садись.

— Зачем?

— Следствие вести будем.

Валька смутился еще больше, сел на стул.

— Выкладывай все, как было, — жестко потребовал Науменко. — С самого начала.

Валька засопел, уставился в пол.

— Ну? — подстегнул Константин.

— Ну пошли мы в ДК, у нас была бутылка...

— Я говорю, с самого начала давай! Во сколько вчера машину поставил?

— Ровно в шесть.

Константин прикинул в уме. Где-то так должно быть. Уже к концу рабочего дня Константин вез на яму травяную сечку, на встречу ему с улицы Береговой вырулил Валька. «С чего бы его занесло сюда?» — подумал. Притормозил. Валька тоже.

— Купаться, что ль, ездил?

— Пианино Виктору Петровичу отвозил. Из райцентра.

— И сколько? — весело подмигнув, полюбопытствовал отец. Это был первый калымный рейс сына.

— Что?

— Сколько, спрашиваю, Петрович... из кармана-то? Не горсть же семечек? — и снова подмигнул.

— А! — понял Валька. — Десятку.

— Смотри ты! Молодец, Петрович. Это еще ладно. А то сейчас народишко, говорю, такой пошел: хоть сто метров, хоть десять километров, хоть пианино, хоть дым в кузове везешь, тариф один — пятерка. Да спасибо. А на кой оно мне твоё спасибо? Ты лучше мне тройка прибавь... Для куража, поди, отказывался?

— Кто?

— Дак ты?

— Вообще не взял.

— Как?! — Константин был до того ошарашен, что нога соскользнула с педали газа, машина дернулась и заглохла. — Серьезно, не взял? Деньги-то?

— Нет, конечно.

— Да ты что? — не верил отец.

— Он же мой учитель, а я буду...

— Дура! — обозлился Константин. — Быв-

ший! Бывший учитель! А теперь — клиент. Ему твоя услуга нужна была? Нужна. А раз так — плати! Он у тебя в зависимости, а не ты у него. Э-эх!.. твою мать!

Валька молчал, водил ладонью по баранке.

— Нет, корову танцевать не научишь. Весь в мать. В Гераськиных! В простодерых! — Константин завел мотор. — Червонец! А! Лопух ты, лопушина! — и включил скорость...

Сам Константин рос безотцовщиной при распутной матери. С малых лет мужские заботы по дому лежали на его плечах. Нахлебавшись лиха, скоро созрел, набрался житейского опыта, смекалки. Науменко гордился, что до всего дошел сам, но, как и всякий родитель, хотел, чтобы его единственный сын не испытывал все то горькое, что довелось испытать ему. Слегка баловал Вальку, исполнял его желания, но и хотел быть Вальке примером того, как жить надо. Неотступно, однако же и неназойливо, воспитывал сына так, чтобы со временем узнать в нем самого себя.

После окончания десятилетки Валька вместе с дружкой своим Женькой Моргуновым засебировался в медицинский институт. Настя поощряла выбор сына. Константин был решительно против.

— Что врач? Белый халат? Пусть его бабы носят! А ты — мужик!..

И настоял — правда, не без труда, пришлось и кулаком по столу — на своем.

— Раньше мужик был без лошади ничто. А теперь, дурья твоя голова, без техники. Если ты на машине да при голове — считай, все в твоих руках, будешь жить — никаких институтов не надо.

И Валька пошел на курсы шоферов.

Испытывая отцовское удовлетворение, Константин в то же время стал замечать, что сын отчуждается, уходит из-под его влияния. Это тревожило Константина.

«Неужели в породе Гераськиных удался?» — думал Науменко, и как-то сама собой усиливалась неприязнь к младшим братьям Насти. Один из них был учителем, другой бухгалтером, и оба с блажью: толкуют про совесть да правду, а у самих по одним шта-

нам... Вот и сын его, Валька. Ему деньги дают, заработанные, а он морду воротит. Разве не блажь?!

Вспомнил Константин вчерашнее, и помимо воли сорвался с языка ядовитый упрек:

— Пропустил десятку-то...

Валька досадливо мотнул головой: мол, опять за свое.

— Из гаража — куда?

— К Женьке... Поехали с ним в райцентр.

«Вот еще кто его сбивает, — подумал Константин. — Тоже блажной». Науменко надеялся, что, отправив Вальку на курсы шоферов, разлучит его с Сутунком, — такое Константин дал Женьке прозвище за его невысокий рост и коренастость, — но просчитался, как дружили, так и дружат...

— Чего понесло?

Валька замялся.

— К девкам, что ли? — догадался Константин и поощрительно улыбнулся. — А?

Молчание сына Науменко расценил как признание Валькой догадки отца.

— Кто они?.. Твоя-то?

— На фабрике игрушек работают.

— Ишь ты. Ничего из себя?

Валька пожал плечами.

— Валандаешься с ней давно?

— Еще когда на курсах учился, познакомились... На Восьмое марта.

Вот оно что. Значит, она — певичка-то. Дело было как раз после Восьмого марта. Валька приехал на воскресенье домой. После ужина Константин включил телевизор, а Настя с сыном остались на кухне и прикрыли дверь. Уже кончился кинофильм, когда жена прошла в спальню разбирать постель. Константину захотелось чаю. Открыл дверь кухни, Валька, сидя спиной к нему, не поднимая головы от книжки, сказал:

— А еще, мам, она поет хорошо...

— Кто? — любопытствовал Константин.

Валька чуть вздрогнул, обернулся и покраснел.

— Кто поет-то?

— Алла Пугачева, — ответил Валька со сдержанным, но нескрываемым недовольством.

Константин понял, что у сына с матерью

какие-то секреты. Это задело его отцовское самолюбие и вызвало досаду.

— Ложись спать, — с желчью сказал Константин. — Поздно уже.

А времени было только половина одиннадцатого.

В ту ночь Константин долго не мог уснуть. Впервые серьезно задумался: почему сын становится каким-то чужим. Нет-нет да и обдаст холодным взглядом, скажет что-нибудь язвительное. А то — молчит, таит что-то от отца. К книжкам пристратился... Неужели и впрямь в Гераськихных?..

— Ну, а... ты ее это?.. — Константин бесстыдно улыбнулся одними губами. — Ну... хоть щупаешь?

Метнув в отца осуждающий взгляд, Валька резко поднялся.

— Сядь! Не пыхай! — и вкрадчиво, почти дружелюбно: — Чего тут такого. Разговор вполне мужской. В твои годы у меня их на балансе, знаешь, сколько уже было... — И строго: — Ну, значит, приехали вы с Женькой в райцентр, пошли в клуб. Так?

— Домой к Галке. На день рождения.

— К твоей это?

— Нет, Женька с ней дружит.

— В магазин, наверно, заходили?

Валька кивнул.

— Кто брал-то?

— Женька.

— На чьи?

— На мои, конечно.

— Как это — конечно? День рождения у Женькиной девки, а справляешь — ты.

— Откуда у него деньги? Он же учится.

— Мать есть.

— И еще Лариска. А отца — нету.

— Меня это не касается. Ему еще четыре года учиться. Если он завтра женится — ты и свадьбу ему сыграешь? — Константин иронично посмотрел на сына, вздохнул обреченно: — Гераськин ты! Весь в них... Женька, считай, всю жизнь на твоём иждивении. Аквариум ты ему отдал, мопед, — Константин загибал пальцы, — почти новый отдал...

— Одну раму, — вставил Валька.

— Джинсы твои таскает...

— Про карандаш не забудь, — подсказал Валька.

— Какой карандаш?

— В первом еще классе я ему простой карандаш подарил, так ты до четвертого пи-лил меня за это.

— Не ехидничай! Надо будет — вспомню. А сколько он у тебя задачек списывал?..

— А сколько я у него списывал, знаешь?

— Я знаю, что вы с Женькой вчера в милицию залетели! Вот и докладывай: за что и как? На вечеринке, поди, напились?

— Выпили, конечно... Но не так чтоб... Пошли все в ДК... Через два или три танца Женька, я и еще один парень — Толян — по-шли в раздевалку, там стакан был, — Женька вытаскил бутылку...

— Какую бутылку?

— Да ту, что мы с Женькой брали. Галка ее на стол не выставила — выпивки много было. А когда уходили, она отдала, все равно, говорит, стоять будет.

— Так.

— Ну открыл я бутылку, налил, Толяну подал. Только он выпил — заходит директор ДК, или кто она, раскричалась, выгонять стала. Мы говорим: мы только выпьем — и все. Она еще пуще. Ну я и...

— Что?

— Я ее... послал, — Валька боязливо по-смотрел на отца. — Вырвалось как-то.

— А она?

— Вышла и привела двух милиционеров.

— От стерва! И что они?

— Отобрали у меня бутылку и повели нас с Женькой в райотдел.

— А того-то, третьего?

— Он как-то незаметно ушел.

— О! Понял? Выпил — и смылся. Сво-лочь — а правильно сделал! Привели вас в милицию. И что?

— Отругали — и все.

— Вы огрызались?

— Чего огрызаться, если виноваты.

— Правильно. С милицией язык не рас-пускай. Спросят что — ответь, с умом, ко-нечно, или так — кивни, поддаки и опять помалкивай. Фамилии записали?

— Нет, наверно.

— Наверно. Смотреть надо. А где рабо-таешь, спросили?

— Спросили. Я сказал.

— Вот и жди теперь — бумагу твоему председателю пришлют.

— Да ничего не пришлют, — уверенно сказал Валька. — Они как узнали, что я шо-фер, повели во двор, там их газик стоит. «Заводится, — говорят, — и сразу глохнет». Вместе с шофером искали — нашли. У од-ной свечи контакт подгорел. Сделали, и нас отпустили.

— И все, что ли?

— Все.

Вместо того чтобы окончательно успокоить-ся, — случай, действительно, самый пустяко-вый, — Науменко раздосадовался: зря толь-ко переволновался. А еще досаднее было от-того, что про это знает Михаил Губарев, вер-нее, видел, как Вальку вели в милицию, а что дела-то никакого и не было — не знает.

— А бутылку-то отдали? — спросил Кон-стантин.

— Какую?

— Недопитую-то?

Валька усмехнулся.

— Отдали. Еще, возле ДК один милиционер бросил ее в урну, и она разбилась.

— Да ты что? — лицо Константина пере-дернуло, будто в него ударили осколки раз-бившейся бутылки. — Врешь!

Валька хмыкнул.

— Да как он, сволочь, смел?! Целую поллитровку!

— Хоть не целую, — заметил Валька.

Константин не обратил внимания на слова сына. Досада в нем закипела, запенилась, превратилась в злость и поперла наружу.

— Ах... твою мать! А ты-то куда смот-рел?! Ррразвернулся бы да, — Константин стиснул зубы, — да по сопатке! Да еще раз! Да еще! По какому, мол, праву, гнида?!

— И два года обеспечено. Да?

Константин и сам понимал, что говорит не то, но сдержать себя был уже не в силах.

— Да за это не бить — убивать надо! Если ты милиция, так все тебе дозволено?! Купи — и бей! А чужое, — будь добр, ува-жай!..

Валька вдруг решительно встал и, не сказав ни слова, пошел с веранды. Так твердо и упрямо пошел, что по телу Науменко пробежал холодок, — казалось, куда-то далеко Валька уходил и навсегда. Константин смотрел в широкую, совсем уже мужицкую спину сына и подумал в испуге: «Не-ет, не Гераськин он...» И отчего-то жалко стало себя. И

жалость была какой-то гадкой, противной...

Король заскулил и тоскливо заглянул в Валькины глаза.

— Голодный? — спросил Валька. Поднял сплюсненную чашку, подивился: кто ее так? Разогнул, налил супа, бросил косточку.

— Лопай, — сказал Король и потрепал его по шее.



Трое друзей, не считая лошади

Фотоэтиюд В. Грызыхина

ГРЕНАДА

НОВОКУЗНЕЦКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ



Александр Раевский

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

...Разряды кончились.
В траве
Воды движение и блики,
И очумелый муравей
Смешно скользит по землянике!..

В столбах лучей,
наискосок
Пронзивших крыги туч разбитых,
Дымит березовый лесок,
Российской нежностью умытый.

Больные листья, мусор, пух —
Ничто в борьбе не уцелело,
А все зеленое вокруг
Еще дружнее зазеленело!

Последних капель
голоса
Все реже в птичьем хороводе,
Вовсю яснеют небеса...
И пахнет свадьбою в природе.

МОЛОДЫЕ

— Ну, супруга, потчуй короля,
Я сегодня дьявольски голоден!
В поисках семейного рубля
Не в бою потел, но на заводе.

Поросенка с хреном не терплю.
Винный блеск меня не озадачит:
Если с Рейна — выплеснуть вею,
Если из Шампани, то тем паче!
Фруктов, куропаток — не мечи,
Организм существенного хочет.
Что же там, на электропечи?..
Так приятно ноздри мне щекочет.
— Сударь мой, себя я не хвалю,
Подчиняюсь воле этикета,
Но скажу в угоду королю:
Снова суп с гороховым брикетом!..

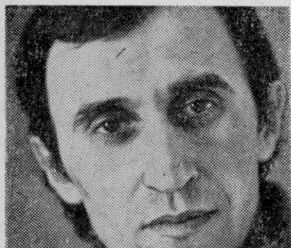
Хохоча, сядились у стола,—
Как соприкасались их тела!

* * *

Я по комнате пройду,
Глянет матушка украдкой:
Чувства сына на виду,
Может, что-то не в порядке?
Мама вяжет и молчит,
Только знаю — замечает.
Старый маятник стучит,
Докучает, докучает...
Безголосая моя!
Пусть напасти одолеют —
Молодой, здоровый я,
Перебьюсь, не околею.

Ты же знаешь, я упрям
И душа — не колокольня...
Но сегодня мне и впрямь
Стало очень-очень больно:

Ты садилась у стола
(Что с тобой, родная, стало?),
Нитку белую брала,
А в иголку — не попала...



Виктор Бокин

* * *

ПОДКОВА

1

Люблю я тот древний обычай,
То русское наше поверье,
Когда под дощатою крышей
Подкову повесят над дверью.
Я был в тех домах.

Чистота в них.

Полы дожелта свежевыскоблены,
И окна с открытыми ставнями
На мир смотрят прямо и пристально.

2

Стемнеет.

Бедовая Нинка
С собою гармонь уведет.
Я выйду.

Я скрипну калиткой.
Не спится...

Но это пройдет.
Смотрю — над черненными крышами
Притихшего на ночь села,
Позванивая чуть слышно,
Подковой

висит

тишина.

Мои руки
с изгибами вен,
со следами ожогов, царапин и ссадин
очень многое могут
и делают сами.

Они могут
потрогать цветы,
разобрать часовой механизм
и собрать по колесику снова,
поддержать

и поставить на место
хорошее слово,
и погладить ребенка,
и бумажного голубя сделать
и просто отдать пацану.
И вертеть папиросу —
когда не усну.

СКОРОСТЬ

У города своя тоска
По травам, по большому небу,
По вольным в небе облакам,
По теплоту (из печки) хлебу.

О, как тесны литые стены.
Ему ночами не уснуть.
И дышат тяжело мартены,
И поезда уходят в путь.

И там — полями разбежавшись,
Над речкою прогрохотав,
К земле доверчиво прижавшись,
Летит ликующий состав.

Пусть скорость нас не доконает.
Давайте дружно замечать,
Как птица тяжело взлетает,
Как уши заячьи торчат.

* * *

Расстелена дорога —
от деревоконя,
от «солнышка как много!»
до первого меня.

Идешь теперь по следу
(и все в тебе светло).
И не спешишь посетовать,
что раньше не свело

нас провиденье,
случай,
опавший жесткий лист,
что так тебе наскучило
смотреть из-под ресниц,



* * *

Обиду, как нелепый сон,
Забыть легко мне.
А ту весну и сосен звон
Мне вечно помнить.
Сквозь разрывавшийся шатер
Смолистых веток
Горело солнце, как костер,
Слепило светом.

выискивать, выглядывать,
засматривать в лицо.
Не мольбами, не клятвами
сманила на крыльцо,

не первую порошею,
не медунцом волос...
А просто я хороший был.
И вот пришел.

Пришлось...

И я строгою саночки
для маленькой Оксаночки.
А может, и для Коленьки...
Веселые и скользкие.

А вечер пахнет хлебом
и молодой смолой.
Как я порой не вечен!
Как вечен я с тобой...

«Весь в стружках...» — улыбаешься.
«Стараюсь», — говорю...
Ах, я тебя, такую вот! —
без имени, без времени, без памяти
люблю.

Владимир Петраш

И оттого в глазах моих,
Как утром росы,
Быть может, миг, один лишь миг,
Но были слезы.
Я их стыдился. Ну и что ж?
Я был мальчишка.
А солнце, точно рыжий дождь,
Рябило книжку,
В которой радости и боль
Перемежались,
В которой первая любовь
С моей мешалась.

БРЕВЕНЧАТЫЙ СОБОР

Когда неважно смастерят,
Построив наспех что-то,
Тогда в народе говорят:
Топорная работа.
Я под Орлом смотрел собор,
Он и теперь как новый:
Там был единственный топор
В руках мастерового.
В нем ни единого гвоздя,
Но что его разрушит?
Он помнит сеево дождя
И знает злобу стужи.
И все стоит, и ничего.
И человек приезжий
Все смотрит, смотрит на него,
Восторженно и нежно.
Еще до Первого Петра,
До Грозного Ивана
Русь начиналась с топора,



* * *

Все реже, реже в небе синева,
Приметы третьей осени мгновенны.
Мой сын впервые стал осознавать
Привычные в природе перемены.

Он присмирел, он не поет мне песен,
Серьезный бродит по сухой траве.
И желтый лист пытается повесить
На голую березовую ветвь.

Как лирика с Бояна.
В труде — топор, в бою — топор,
Лицо в крупинках пота.
Стоит бревенчатый собор —
Отличная работа!

МГНОВЕНЬЕ

Мгновенье — и умчались прочь
Вокзал и цепь огней,
Окно, распахнутое в ночь,
И девушка в окне.
Теперь вести свой счет годам,
Но память-объектив
Вновь приведет меня сюда,
Где я хотел сойти.
И будут снова мчаться прочь
Вокзал и цепь огней,
Окно, распахнутое в ночь —
И девушка в окне.

Анатолий Балакай

* * *

Когда-нибудь под воскресенье,
Осенней ночью, в октябре
Я напишу стихотворенье,
Стихотворенье о тебе.
В нем будут петь, смеяться люди
И пить вино, не зная бед...
Оно моим последним будет —
Стихотворенье о тебе.
А ты нечаянно припомнишь
Одну случайную строку
В своем кругу с друзьями в полночь
Иль по дороге к роднику.
Так путник иногда, усталый,
На счастье

или на беду

В кармане гимнастерки старой
Найдет упавшую звезду.
И если можно возвращаться
Потом деревьями, травой,
То я хочу в тебе остаться
Одной единственной строкой.



Станислав Долгов

ВОЛШЕБНЫЕ СУНДУКИ

Жила-была старушка
В избушке у реки.
На чердаке избушки
Стояли сундуки.

В одном — скрывался месяц,
Когда вставал рассвет.
В другом — вращалось десять
Загадочных планет.

Сундук по счету третий,
По слухам стариков,
Всегда был заперт, дети,
На семь больших замков.

В четвертом — звезды спали.
А в пятом сундуке
Морозы отдыхали
В парчовом гамаке.

В шестом — сидели ветры,
Похожи на страшилищ.
Их бороды, как гетры,
На гвоздиках сушились.

А в сундуке хрустальном,
С серебряным оконцем,
В воздушном платье бальном
Гуляло утром солнце.

ПРИСКАЗКА

Дело в том,
Что
Жил-был
Дом.
В доме том
Жил
Старый
Гном.
И у гнома
Было «ТО,
ЧТО НЕ ВИДЫВАЛ
НИКТО».
Раз пришел
С работы гном —
В доме гнома
Все
Вверх дном.
Закричал гном:
— Где ты, «ТО,
ЧТО НЕ ВИДЫВАЛ
НИКТО»!
Почему здесь
Кавардак?
Сделан
Кем,
Когда
И как?
И в ответ
Услышал
Гном:
— Приходил
К нам в гости
Гром.



Леонид Сербин

* * *

Не учи хорошему,
Не учи плохому.
По траве некошеной
Весело босому.
Побегу за солнышком,
Что горит вдали
Золотым подсолнушком
На краю земли.

* * *

Прощаюсь, каюсь, лгу себе,
Что все преодолеть сумею.
Но ты останешься в судьбе,
И я не раз пережалею,
Перекричу, перетерплю
Остаток всех былых желаний.
Мне столько стоило страданий
Найти тебя, сказать «люблю»,
Сказать, довериться, забыться,
К твоей руке припасть щекой,
От всех страданий откупиться
Твоею детской красотой.

* * *

Давай с тобою так поговорим,
Отбросим мелочь и забудем споры,
На языке, на языке, которым
Я говорю с тобой, пока любим.
Давай с тобою так поговорим:
Сердца откроем — нечего таиться,
Все, что прошло, уже не повторится,
Оно как дым, сентябрьский синий дым...
Давай с тобою так поговорим,
Чтоб легче стало, чтобы солнце вышло
И отогрело пасмурные крыши,
И воздух стал прозрачным, молодым,
...Давай с тобою так поговорим.



Афанасий Гукровский

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ

РАССКАЗ

Широкая улица пригорода — ни конца-ей, казалось, ни края. Мощный трехосный ЗИЛ идет на средних оборотах, шофер цепко держит баранку, неотрывно, внимательно смотрит вперед. Тут гляди в оба! То перемахнет дорогу стайка ребятишек, бегущих из школы, то какая-нибудь шавка вывернется из подворотни и с остервенелым лаем кинется под колеса. Бестолковая скотинка, а давить жалко.

Аккуратные домики, приветливо глазющие на мир божий чистыми окошками, гаражи для личных машин, рядные в осенней расцветке березовые, тополевы, рябиновые аллеи с подметенными асфальтированными тротуарами. Дом культуры с колоннами, во всю стену окна — витрины у магазинов, школа, что дворец...

— Живут же люди! — восхищается шофер вслух. — И от городской кутерьмы, от всяких там дымных смрадов поодаль, и все у них тут по уму, по-городскому...

В колхозе «Восход» работает Федор Бочков всего несколько месяцев, но уже привык, нравится ему там. У них в деревне и дома не хуже этих, и кинотеатр, и школа. Да и личных машин у селян навалом. Федор не завидует горожанам, а заговорил только потому, что тошно

ехать вот так, будто покойника везут они.

Главный бухгалтер того же колхоза Яков Миронович Мальков сидит рядом. На реплику шофера — ноль внимания.

Шофер убавил газ, осторожно переехал выбоину в асфальте. И чтобы разбудить соседа, заставить его заговорить, опять начал, спросил о том, что подвернулось на ум:

— А почему псы не любят машин, кидаются на них, будто на зверя какого?

Но бухгалтер и на этот раз не отошелся. Будто его и не было в кабине.

«Ханыга!» — выругался про себя Бочков и надолго замолчал.

Федор Бочков и сам не ахти какой говорун, порою слова не выдавишь из него. Но он терпеть не мог, когда в дальнем рейсе сидит рядом пассажир и будто воды в рот набрал, или хуже того — клюет носом. Тут и его, шофера, ко сну клонит.

Пригород остался позади. Дорога пошла на подъем, Федор переключил рычаг скорости, и мотор загудел натужнее.

Подняв правую руку, шофер повернул на себя прямоугольник зеркальца заднего обзора, глянул в него, удивленно поморщился: у левой ноздри широкого носа масляный след пальца, на

выпуклом в веснушках лбу — две грязные полосы. Длинные волосы на голове выгорели за лето до цвета ржаной соломы, в них, казалось, черти в прятушки играли: взлохматили, перепутали...

«Ну и видок у тебя, братушка!..» — подмигнул Федор своему отражению.

Монотонно, убаюкивающе гудит мотор, шуршит ветер за кабиной, погромыхивает автоприцеп, мелодичным звуком переключаются запасные части в кузове. И вдруг все стихло. В зыбкое серое пятно растворилась дорога, колыхнулся дальний лес, закружился цветастым калейдоскопом. Усталость брала свое. Федор вздрогнул, тряхнул кудлатой головой. Слегка повернув отяжелевшую голову, посмотрел на бухгалтера.

Яков Миронович привалился в угол кабины, закрыл глаза. Забавно торчит коротко подстриженная жесткая, как истертый березовый веник, седая борода; на крупном мясистом носу покоятся очки в золоченой оправе. Обмякшими руками держит он на коленях фибровый чемоданчик. Касса...

— Уморехался, дедуся, — посочувствовал шофер. И ухмыльнулся: — В очках, должно, и сны веселше кажутся...

Бухгалтеру страшно хотелось спать: поднялся он ни свет ни заря, да и в городе пришлось помотаться — на базе Сельхозтехники, в Госбанке — умаялся до чертиков. Но уснуть он не мог: малейший нырок под колесами машины болезненно отдавался в пояснице, отекали ноги... Годы. Седьмой десяток Малькову. Прошли те времена, когда рядовой Яша Мальков мог спать на снегу и под снегом, в тесном сыром окопчике и на кочковатой жесткой земле; засыпал и под нудное завывание вражеских мин, под гром разрывов снарядов и бомб... А тут — гроыхнет автоприцеп или звякнут железки в кузове, и он, Мальков, вздрагивает. Нервишки...

Яков Миронович слышал реплики шофера, но пропускал их мимо ушей. С этим мордастым парнем не хотелось ему калякать. Да и о чем говорить с бывшим заключенным? О собаках? Откуда мне знать, почему они не любят машин. Я им, собакам, не сродственник, разговору на ихнем наречии не обучен... А если уж откровенно — бухгалтер просто боится Федора Бочкова.

Яков Миронович чуток разлепил ресницы: «Эка, вымахал, как сохатый! На плече можно, годовалого ребенка спать уложить. А ручищи, что лапы у медведя, тиснет за горло, пожалуй, и пикнуть не успеешь.

Межпоселковая шоссейка нырнула в черневую матерую тайгу, и шоферу показалось, что едет он глубоким ущельем. Повороты дороги хотя и не частые, но Федор насторожился: сбавил газ, слегка подался вперед, руки надежно лежат на баранке: вдруг какая-нибудь лайба вывернется из-за поворота...

* * *

Плавно стелется дорога под колесами, подпрыгивают пожухлые, сухие листья, как воробьи, шарахаются в стороны. Хорошо в осеннем лесу. Но Федора одолевают невеселые мысли...

Вчера после обеда зашел Бочков в кабинет председателя колхоза. Там был и главный бухгалтер Яков Миронович Мальков. Переступив порог, Федор остановился, негромко поздоровался:

— Здравсьте!

Но ему не ответили. Председатель подписывал какие-то бумаги, а бухгалтер, сидя спиной к двери, положив на стол согнутые в локтях руки, говорил тихо, но очень быстро. Не разберешь.

Потоптавшись, Федор спросил уже громче:

— Приглашали, Роман Петрович?

Председатель оторвался от бумаг.

— А-а, Федор! Здравствуй! Ну как у тебя с ремонтом машины?

— Машина готова, Роман Петрович, — живо ответил Федор. — Приеду сейчас, пошурю маленько по деревне. Для обкатки.

Главный бухгалтер поднялся, отошел к окну. Слегка наклонил маленькую голову на короткой шее, смотрел на шопера поверх золоченой оправы очков. В деревне все знают о каждом все и каждый знает обо всех. Яков Миронович тоже знает, из каких «мест» заявился к ним в колхоз Федор Бочков, а потому и не любит его. Правда, за что получал срок Бочков, главбух не знает, да его и не интересует это. Он убежден, что порядочные люди не попадают «туда».

Роман Петрович нашел нужную бумагу, поднял голову:

— Добро, Федя! — кивнул в сторону бухгалтера. — Завтра пораньше поедете в город: получите деньги, автоприцеп и кое-какие запчасти к тракторам.

— Что-о! — вскинулся Яков Миронович, уставясь на председателя.

Роман Петрович встал, предупредительно поднял руку: мол, помолчи. А Бочкову наказал:

— Машину заправишь основательно. До шоссейки, сам знаешь, какая дорога...

Ездил Федор по деревенским улицам, обкатывая машину, потом заправлял ее, и все слышалась ему реплика главбуха: «Что-о!». А этот его взгляд поверх очков... Вспомнилось Федору и другое.

Как-то Мальков вызвал к себе шопера. Перебирая путевые листы за прошлый месяц, подносил он близко к глазам то одну бумажку, то другую, казалось, даже принюхивался к каждой; потом тыкал в них коротеньким толстым пальцем, тягуче, нудно дундел, придирчиво прискребался: там пробег автомашины завышен, там перерасходовано горючее, а там... Затем поднялся главбух из-за стола, отошел в

сторонку. Наклонив голову, неприязненно уставился на Бочкова маленькими, колючими глазами поверх очков. И вдруг ни с того ни с сего спросил:

— Ты надолго ли обосновался в нашем колхозе?..

У Федора аж дух перехватило от обиды. И чтобы не наговорить лишнего, не нагрубить, поспешно вышел из кабинета. «И что человеку нужно?..»

...Чадя густым черным дымом солярки, на предельной скорости и без предупреждения обставил машину Бочкова кургузый МАЗ, нагруженный углем. Подмигивая красными огоньками стоп-сигналов, подвернул он к правому борту шоссейки, покотил дальше. Смотрел Федор на обшарпанный, измятый железный кузов удаляющегося «Буйвола», скептически ухмылялся. Подумал о водителе: ветродуй! По одному виду машины заметно, что ветродуй...

Прямой, ровный участок шоссейки. Пусто, тихо. Федор маленько расслабился, покосился на своего соседа: «Не-ет, этот не ветродуй. Этот — заяц во хмелю!..»

Не любит Бочков вспоминать о своем недавнем прошлом. В разговорах даже боится, чтобы случайно не сорвалось с языка какое-нибудь жаргонное слово. За три года нахватался он этих словечек, как собака репьев на хвост. Но после памятного разговора насчет «рода и племени»... Федор нарочито старался в присутствии главбуха вернуть словечко позаковыристее. И всякий раз замечал брезгливую мину на лице Малькова.

* * *

Долго, требовательно сигналил настигающая машина. Федор посмотрел в зеркальце заднего обзора; в нем, как в видеоискателе фотоаппарата, маячит старенький «Москвич» стального цвета. Машинешка из всех своих силенок царапается, пытается обставить мощный

грузовик. Затем шофер легковушки включил свет, помигал: остановись!

Бочков подвернул к обочине, остановился. «Должно быть, горючее сожрала старушка», — решил Федор. Заглушил мотор.

«Москвич» остановился впереди. В нем двое. Открылась правая передняя дверка, вышел пассажир — высокий парень в коричневом костюме, на голове серая кепка. Одернув костюм, показал он на легковушку: нужна, мол, ваша помощь. Не спеша идет к грузовику. Но вот парень вдруг сунул правую руку в потайной карман костюма... Федор почувствовал неладное, бросил Малькова:

— Сунь чемоданчик под сиденье!

Мальков непонимающе уставился на шофера:

— Зачем?

— У-у, ханыга! — кулаком ударил Федор по чемоданчику, и тот свалился под ноги Малькова.

А парень уже — вот он! Рывком открыл дверцу кабины, наставил пистолет на старика:

— Деньги! — в глазах его наглая решимость.

Яков Миронович прижался к спинке сиденья; бородачка мелко тряслась, беззвучно зевал он ртом... Наконец чуть слышно пролепетал, заикаясь:

— К... К-акие деньги?..

Настороженными глазами следил Бочков за каждым движением бандита. В голове Федора лихорадочно стучала мысль: «Ключ. Под сидением торцевой гаечный ключ! Чутко приподняться и...» — убрал руки с баранки, опустил вниз.

Бандит, видать, заподозрил что-то, вскинул глаза на шофера, гаркнул:

— Руки! — наставил пистолет на Бочкова. — Руки на баранку! Ну!

И тут грабитель увидел под ногами старика фибровый чемоданчик, схватил его, не пряча пистолета, быстро зашагал к машине, часто оглядываясь.

«Москвич» круто развернулся и пошел обратно, в сторону города.

Некоторое время Бочков и главбух сидели в молчаливом оцепенении.

Вдруг Бочков повернул голову, крикнул Малькову:

— Отцепляй прицеп! Живо! — Он и сам еще толком не представлял, что будет делать, как поступит...

Едва успел Мальков втиснуться обратно в кабину, грузовик резко пошел в разворот.

Всем корпусом подался Федор вперед, будто толкал машину, и жал, жал на полную «железку». Шоссейка казалась узенькой ленточкой, пестрела, как тигровая шкура, светлыми и темными полосками от теней деревьев. Рябило в глазах. Слишком частыми и очень крутыми были теперь повороты дороги: вправо, влево — того и гляди слетишь под откос...

Цепко держался Мальков за ручку дверки, с опаской и тревогой поглядывал на шофера. Белесый чуб Федора сполз на лоб, повлажнел от пота, толстая шея побагровела.

Легковушка далеко впереди, тоже жмет на всю катушку. То исчезнет за поворотом дороги, то снова появится, будто дразнит: попробуй-ка, догони!.. Она казалась теперь плоской, узенькой и пестрой, как речная ракушка.

— Счас я вас, гадов!.. — процедил сквозь зубы Бочков.

Когда бандит утащил чемоданчик, Яков Миронович подумал было, что без этой... «зоны» тут не обошлось... Но такое неожиданное и решительное намерение Федора Бочкова — «счас я вас, гадов!..» — и страшно напугало и отрезвляюще действовало на Малькова.

Бочков — весь в погоне. Вырвались на прямой, как стрела, участок дороги. Лес, будто выдохся от бешеной гонки, отстал. Показались заводские трубы. Близко город. Расстояние между машинами сокращалось. В разгоряченном до

отчаянья мозгу Федора назойливо зудела дерзкая мысль: сходу навалиться всей тяжестью грузовика на «Москвич», искромсать его вместе с бандитами. Сейча-ас!.. Еще разок и... И вдруг распахнулась левая задняя дверка легковушки, на середину дороги кубарем полетел фибровый чемоданчик.

«Ага, сволочи! наложили в штаны!..» — злорадствовал Бочков.

Тормоза грузовика заскрипели сухо — до рези в ушах; машина несколько метров проползла юзом по сухому асфальту. Бочков выскочил из кабины, схватил чемоданчик, раскрыл его и... остолбенел.

Вдруг вскинул Федор голову, полными гнева и отчаянья глазами посмотрел вдоль шоссе, увидел, как «Москвич» беспрепятственно прошмыгнул мимо поста ГАИ, тяжело засопел:

— Сук-ки! — вертел он в руках обшарпанный чемоданчик. — Кинули, как собаке кость...

Не глядя на Малькова, который стоял уже рядом, Бочков в ярости швырнул чемоданчик в кювет.

— Ты что!.. — вскинулся Мальков и метнулся за чемоданчиком.

«Совсем рехнулся старик!..» — шофер досадливо плюнул на асфальт.

Держа под мышкой свое добро, вернулся Мальков. Переведа дух, как рачительный хозяин, многозначительно изрек, постучав ногтем по чемоданчику:

— Это же казенное имущество!..

— А деньги! — вскипел Бочков. — Деньги-то уплыли!..

— Деньги? — переспросил главбух и простодушно посмотрел на шофера. — Так... денег не было.

— Што? Как — не было?..

— Так, не дали. — Мальков повел плечом. — Ошибка в документах... А чемоданчик-то, говорю, казенный. Жалко...

Бочков насупился.

— Врезать бы тебе... между глаз! —

и пошел к машине. На дороге увидел Бочков косячок сыра, остановился. Федор вспомнил: когда открыл он чемоданчик, из него выпал этот ломтик. Кивнул главбуху: мол, твой?

Мальков поднял ломтик, рукавом пиджака смахнул с него пыль.

— Тоже казенное имущество? — ехидно сказал Федор.

— Бабка на мой день рождения велела купить. А бутылчонку-то... Четыре звездочки... Умыкнули, паразиты.

— В честь именинника выпьют.

— Подавиться бы им!..

— Ладно, садись, поехали...

Через какую-нибудь минуту Федор затормозил у поста ГАИ...

Вдали за нарядным по-осеннему зубчатым лесом догорал закат. А понизу сгушались уже сумерки. Переход от дня к ночи происходит в тайге резко, быстро. Федор включил свет фар, сбавил скорость, малость расслабился.

Как ни «отмахивался» Бочков, а воспоминания о таком долгом, чертовски тревожном дне помимо воли теснились в голове, не давали покоя. Взглянув на Малькова, сказал:

— Говори спасибо, что в банке вышла осечка... А то бы, как миленький, загремел ты к... белым медведям.

Яков Миронович снял вдруг очки, но тут же снова водрузил их на переносицу. Слегка подался к шоферу, дрогнувшим голосом спросил:

— Думаешь?..

— А что тут думать-то... Вот тогда и пришлось бы вкалывать да вкалывать, — Федор кивнул: — Были у нас «там»... вот такие же...

У Якова Мироновича неприятный холодок по спине пробежал. Он даже плечами передернул. Помолчав, спросил:

— А ты сколь, эт самое, вкалывал?

Бочков поднял руку, показал три пальца.

— Было мне двадцать один, а теперь уже целых двадцать четыре,— невесело пояснил Федор.— Вороная кобыленка будто языком слизнула три годика.

— Как это—кобыленка слизнула?— не понял Яков Миронович.

Навстречу катил рефрижератор. Бочков поспешно отвернул свою машину к обочине, пропустил встречную и стал рассказывать, что у них в деревне, на Алтае, масленку всегда правят— только снег из-под копыт... Один лихой наездник на тройке вороных— в розвальнях полно девчат— вывернулся из-за поворота улицы, а тут и он, Федор Бочков, на машине. Дорога накатанная, скользкая, как стекло. Левая пристяжная— кобыленка молодая, пугливая— шарахнулась и... под колесо...

— Эк, вынесло его, полоротого!— Мальков стукнул кулаком себя по коленке.— Надо же!..

— Лихачу тому и ветер в зад,— засмеялся Бочков,— а мне отломили пять кругленьких... За превышение скоро-

сти: загляделся, лопух, на этот карнавал.

— Ты же говорил — три!

Посмотрел Федор на главбуха, подмигнул:

— Амнистия, дед, вышла...

* * *

Перед ноябрьскими праздниками Федора Бочкова вызвали в контору. Его поджидали председатель колхоза и главбух. Председатель сообщил, что грабителей тех задержали, что ему, Бочкову, тоже придется выступать на суде, в качестве свидетеля.

И тут же председатель сказал:

— Мой шофер приболел что-то,— он кивнул на главбуха.— На газике поедете завтра в Госбанк.

Бочков вопросительно посмотрел на Малькова: как, мол?

Яков Миронович заулыбался.

— С тобой, Федя, я эт самое... хоть куда!..



Леонид Лягов

САПОГИ

Мой «проводник», главный механик шахты, все норовил лихо шлепать по небольшим мульдам, заполненным водой. Заметив мое удивление, он сказал:

— Люблю ходить по воде. Когда я начал механиком участка, то мне достался не бог весть какой спец и дырявые сапоги. Обменять не удалось. И вот в те первые месяцы, как я ни берегся, каждый раз портянки хоть выжимай. Потом выдали новые сапоги. И с тех пор испытываю удовольствие от того, что брожу по воде, а ноги сухие. Да, да. Это действительно благо — хорошие сапоги.

Большинство человечества уже давно не ходит босиком и научилось понимать толк в обуви. Но, что ни говори, только те, кому приходится часами не снимать сапог, «топать» в них по воде, скользить по грязи, ходить по острым обломкам породы, «перебирать» бесчисленные мокрые ступеньки лестниц и перелезать через сыпучие преграды, знают по-настоящему, что такое хорошие сапоги. В таких сапогах нога одновременно и спит, и бодрствует. Она спрятана в тепло и мягкость портянки и хорошо защищена жесткой рифленой подошвой. Она в безопасности, и поэтому ты смелее, бодрее и энергичнее идешь, делаешь что тебе нужно.

Конечно, хороший сапог — это и хороший хозяин. У хорошего хозяина портянка не сбивается с ноги и не превращается в комок, который давит пальцы или натирает пятку. Или рвет подкладку. А ведь стоит только надорвать подкладку — и пропали сапоги.

Сапоги хорошего хозяина сторонятся гвоздя или острого края решетки, а уж если и

встретятся с ними, то только след на голенище, а не дыра тому свидетель.

Шахтерские сапоги. Какие только формы не придавали и не придают сапогам горячие прессы. Носок тупой или острый, круглый, словно часть мяча, в виде плоской бутылки или штофа без горлышка, с рантом и без, на толстой, почти не гнущейся рифленой подошве или мягкой и такой тонкой, что, ступая, можно считать куски породы, с прочно стоящими голенищами и мягкими...

А какое разнообразие самодельных сапог помнят шахты. В войну, и еще не один год после нее, обувью шахтеров были чуни. Огромные калоши-лодки из жесткой резины. Окрутил ноги портянками, вставил в «лодки», затянул на щиколотке тесемки и пошел собирать угольную мелочь и штыб. Но голь на выдумку хитра. Вскоре к чуням стали пришивать голенища. Все годилось для голенищ: и брезент палаток, и материал сумок «запальщиков», и корд транспортной ленты, и материал вентиляционных труб, и многое другое. Хорошая получилась обутка.

Прошли годы, но еще в начале пятидесятых можно было встретить тех, кто не хотел расставаться со своими, конечно «лучшими, чем теперь делают», сапогами, хотя уже большинство шахтеров воспринимало чуни с усмешкой.

...Под землей осталось бесчисленное множество следов разных сапог. Год от года все меньше их в шахте. Но еще не один десяток лет шахтеры будут надевать сапоги, чтобы другие люди в стужу могли разгуливать по дому в тапочках или купаться в бассейне.

РЕВНОСТЬ

Вот и все...

Вовка уезжает.

Я утюжу ему рубашки. И не спешу укладывать в чемодан. Пока Вовкины вещи на спинке стула — мне легче.

Но сын откидывает крышку чемодана. Этот жест означает: мама, поторопись, опоздаю к самолету.

Да, конечно... Наверное, девушка вышла уже встречать моего Вовку. Своего Вовку.

Сердце мое ожесточенно протестует: почему? по какому такому праву?! Прижимаю к груди рубашку. Не отдам! Не отдам тебя, сынок!

Разум на мгновение подавляет протест: так должно быть, это — закон человеческой природы.

Осталось выгладить три рубашки.

Теперь стирать и гладить их будет она. Смотрю на фотографию девушки. Чужая.

Я тогда сразу поняла, что это неспроста: на столе сына рядом с моей — эта вот фотография. Предвещница разлуки.

Интересно, вспомнит ли Вовка о фотографиях? Какую из двух положит в чемодан?

От меня к ней уедет. Сутки пол мести не буду, а то дороги не будет... Чепуха! У них — любовь. Мети я пол, не мети — самолет доставит Вовку. У него билет. А ты — встречай. Непременно... Как я.

Встречала. И из школы, и с работы.

Накорми первым делом сына. Любимого своего то есть. Он щиплет. Кислые. Густые щиплет.

И чтоб две подушки под головой.

И чтоб рядом с обувью — крем и щетка лежали. И чтоб... Рада? Улыбаешься? И Вовка рад. Торопится к тебе. Оперился! А у матери спросил: «Уезжаю, мама, женюсь». И все. Думаешь, милочка, сладко тебе с Вов-

кой будет? У него — хара-а-актер. Придет он, к примеру, с работы мрачнее тучи. Думаешь, увидел тебя и — настроение поднялось? Нет, душечка! Много на себя берешь. Я — мать, и то всякое бывало: когда найду подход к нему, когда — нет. Молчит, упрямый, — и все тут. Ты вот и знать не знаешь, как нужно вести себя в таком случае. А я — знаю!

...На работу пусть в этой, голубенькой ходит. Вовка вообще голубой цвет любит.

Не торопи, сынок! К ней-то на всю жизнь едешь... Что же еще положить? Гребенку, может? У них, молодых, мода сейчас — в волосах гребенки носить. И денег, поди, нет у нее. У студентов они когда водились? Вот сюда в кармашек положу. Наденет, может, когда фартучек-то, руку — в карман и — обрадуется.

Интересно, чем ей Вовка мой приглянулся? Неужели на красоту клюнула? А что он умный да деликатный, заметила? Или лишь бы замуж выскочить? Хоть за кого. А что ты на это, милочка, скажешь: у Вовки твоего печень больная. Ему особые режим и диета нужны. Я-то вот могу ему все это создать. А ты? Тебе, небось, только красоту да любовь подавай... Отняла Вовку. Улыбаешься?!

Я одна его, без отца вырастила. Легко, думаешь? Я ему душу всю отдала. А ей — что?! Увидела, завлекла — увела. Не гордись, что молодость да красота на твоей стороне. Вот возьму и скажу сейчас сыну, чтоб не уезжал. Не послушает, думаешь, меня?.. Я вот в этот платок свитер ему заверну. Теплый. Платок, говорю, теплый. Не надевала ни разу. Понравится тебе — носи. Может, шапочку ей связать, голубую. Вовка голубой цвет любит.

Писали бы только... Ради бога, только бы письма писали! Из армии редко получала: ленился Вовка писать. У соседки моей,

Александры, сын тоже — ленивый на письма, да сноха — ничего. Нет, нет и пришлет весточку. Надо наказать Вовке: пусть скажет Тане, чтоб писала мне.

...Вот гостинцы еще положу и скажу ему все, все. Особенно, если ребенка надумают, пусть меня известят. С них ведь что взять! Запеленать малыша и то не сумеют по-людски. По-книжному. А что — книги? У ре-

бенка бабушка есть. Она без книг все сможет. Только бы писали...

Вовка, не торопи, посидеть перед дорогой полагается...

Теперь вот — можно.

Можно попрощаться. Можно поцеловать тебя и заплакать.

«Будь счастлив, сынок!.. Не обижай Таню!..»

Валерий Сибикин

МНЕ ПОДАРИЛИ ЛЕТО

Взял дощечку, окантовал реечкой. Корытце получилось. Его и прикрепил за окном к наличнику. Насыпал в корытце пшена, крошек хлебных, всяких мясных отходов...

Мороз лютует, аж бревна на стенах трещат. Снег весь седой-седой, даже не искрится под солнцем. Самому-то солнышку стыло, неуютно в небе. Да нужда заставила, вот и висит — маяется.

А в избе тепло. Уютно. Огонь гудит в печи. Смольем и берестой пахнет.

Глажу: воробей — ррраз на кормушку. Головой по сторонам круть-круть, хвостиком дерг-дерг! Удивляется, не верит: такая уйма корма?!

Приподнялся на голенастых ногах, шею вытянул и через стекло на меня луп-луп... Я замер, конечно.

Он положил голову на одно плечико, на другое, похлопал глазенками, склонул наснех несколько зернышек и — только его и видели.

А через минуту как ветром целую стаю швырнуло на кормушку.

Стук-перестук пошел: ни дать ни взять дождем стекло окатило. Крупным, порывистым, дробным.

Поклевали, поклевали и — одним махом все сразу фрррр! Расселись на ветках. Шум подняли — что-то свое воробьиное обсуждают.

А немного погодя снялись с веток. И снова окошко ливнем захлестнуло...

Вот здорово! Я им корм подарил, а они мне в стужу лето дарят.

ЗЕЛЕННЫЕ ЛИВНИ

Интересно лечится мой дедушка. Набросает полную кадушку крапивных листьев, потопчет их, потопчет и оставит так дня на два под солнышком. А потом залезет в них и сидит. Пот с него ручьями, как в бане. А он только побряхтывает от удовольствия. Какое от крапивы удовольствие? Я близко к ней подойти боюсь — вон она как стрекается.

Много дедушке крапивы надо. Вот и по-

звал он меня с собою. Я хоть и боюсь крапиву, но с дедушкой пошел. Потому, что люблю дедушку и не хочу, чтобы он болел. И еще, с ним всегда интересно. Он все-все знает и про деревья, и про цветы, и про птичек, и вообще...

Нарежем мы серпами вязанку крапивы, сядем под какой-нибудь березкой и листочки крапивные общипываем. Скажете: ты же бо-

ишься, а как же режешь-то, как общипываешь? Ха! Я же в рукавицах. Аж до локтей. Краги называются.

Сидим мы работаем, а тишина-а-а. И небо голубое-голубое и лоскуточками на ветках березок повисло. Вдруг ка-а-а забарабанит по листьям, как зашумит! Глядь я вверх — крупные серебринки летят, щелкают по листьям и в траву падают.

«Дедушка, дождик! Слепой дождик!»

— А ты лови его, лови, — улыбается дедушка.

Я ловлю, а он почему-то не ловится. Ни одна капля на ладошки не попала. И самое главное — почему-то кругом сухо.

— А это такой зеленый ситничек, — улыбается дедушка. — Сеянчик березовый. — Он встал, наклонил одну из веток и сорвал с нее сережку. — Смотри, что это?

— Сережка.

— Верно.

Дедушка нажал на нее пальцами. Как брызнет из нее во все стороны! И по траве тук-тук-тук-тук...

— Ну, — улыбается дедушка, — понял,

какой такой зеленый ситничек? В хорошее лето да где-нибудь в березах-ровесниках случаются такие дружные дожди-окатнички — настоящие ливни зеленые... А теперь давай саму «каплю» посмотрим. Видишь: вот тугой орешек, а по обеим сторонам у него легкие крылышки. Орешек — это семя. Если его посадить в землю — из него может вырасти новая березка. В природе все хочет после себя замену оставить. Птицы выводят птенцов, звери — зверят растут, а березка вот семена сеет. Не будь такого — земля бы опустела. Птицам и зверям оно, конечно, проще. А дерево-то с места сойти не может, не положит свое семя куда надо. Вот у семян березы и выросли крылышки. Выбросит сережка семечко, подхватит его ветер-бедокур и унесет неведомо куда. А на будущий год, глядь — из него слабенький росточек проклюнулся.

Пройдут годы, и разовьется из росточка да как зашумит на ветру березонька, как закуривается красавица! И другого такого же вихрастого да любопытного осыплет своими крылатиками...

г. МЫСКИ

Алексей Бабанин

ГОЛУБОЕ ОЗЕРЦО

Вера Чайкина была дояркой. Утром, идя на работу, она подмечала, как тот же луг становился другим: когда на траве лежал иней, луг казался голубым, всходило солнце — трава сверкала в жемчужных россыпях росы. Вечером он был темен и будил в душе тонкую грусть. А речка будила в девушке песню, и Вера, сама того не замечая, начинала потихоньку напевать.

Дома у Веры была заветная тетрадь, куда она записывала все увиденное, пережитое. Часто в стихах.

Первые стихи появились осенью, когда Вера помогала перегонять скот с летних выпасов на фермы. Тетрадь Вера никому не по-

казывала. Она была частью ее души. Сокровенной частью.

Вот и сегодня. Возвращаясь с работы домой, Вера вдруг остановилась. Ее поразили цветы — голубые подснежники. Они сгруппировались у самой дороги и при малейшем ветерке — кланялись, а соприкоснувшись друг с другом — целовались. Иногда это был мимолетный поцелуй, в другой раз — долгий, в зависимости от порыва ветра. И казалось, цветы о чем-то шепчутся, рассказывают друг другу что-то заветное и красивое, как и сами они. Вера долго смотрела на цветы, стараясь расслышать, угадать, о чем они шепчутся. О солнце? О небе? О земле? О ра-

дости? Конечно же, о радости. А радость — это и солнце, и небо, и земля. И она передается. И глаза девушки тоже вспыхнули радостью. Она улыбнулась и присела у края дороги. Ей захотелось сорвать несколько подснежников. Но она подумала, что тогда нарушится цветная гармония. Пусть будет так, как есть. Ведь здесь пойдут другие люди. Пусть они тоже увидят и полюбуются этими живыми, синими волнами озера, омывающего серую ленту дороги. Интересно получается иногда, видит человек что-то уже не впервые и вдруг восхищается: «Подснежники! Простые, милые цветы!» Радость — она передается.

Придя домой, Вера записала в тетрадь: «Сегодня видела, как целовались цветы...»

Утром следующего дня Вера снова захотела увидеть цветы и заново пережить вчерашнее. Но на том месте, где еще вчера было разлитое озеро подснежников, цветов она не нашла.

Тетя Зина, напарница, женщина уже не молодая, узнав о цветах, сказала:

— Ну, если они растут, так надо же их кому-то и рвать. А так — зачем они?..

Но посмотрев в лицо погрузневшей Вере — смолкла. Потом подошла, положила ладонь на хрупкое плечо девушки, улыбнулась, зашептала:

— А ты стишков не пишешь? Попробуй-ка. Получится. У тебя душа нежная. Попробуй.

г. КИСЕЛЕВСК

Дюсен Есмагамбетов

О ЦАРЕ-МЕЧТАТЕЛЕ И МИРАЖАХ

Жил-был счастливый народ в счастливом краю. До того богатый край: в полноводных реках кишмя кишит рыба, на сочных лугах пасутся тучные стада, под рукой ветра колысаются поля.

Умер старый царь-государь, пришел вместо него другой. Совсем молодой и к тому же — мечтатель. Прочитал он как-то стихи про пустыни, оазисы, пальмы и миражи. И совсем покой потерял. Как закроешь глаза — так слышит, как пески поют. Наяву стройные пальмы видит, ночью миражи ему снятся. Совсем зачах юный царь. Думал-думал и приказ сочинил...

Вырубил леса и продал в соседние царства, в обмен на пески, которыми те были богаты. Скосили луга. Выкорчевали сады. Засыпали все песком — собственные барханы завели. Потом другой приказ оглашают: насадить пальмы и импортировать миражи.

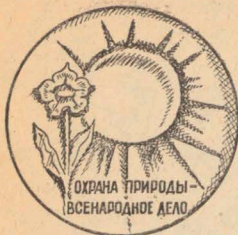
С пальмами обошлось. Насаживали. Только ждать осталось, когда прямо из-под облаков бананы и финики станут падать к ногам счастливых поселян. С миражами получилось похуже. Ни одно из соседних и даже отда-

ленных царств не желало расставаться со своими миражами. Совсем загрустил юный царь-государь.

И вдруг миражи появились. Сами по себе. Обитатели нового оазиса, которые в ожидании полуденных плодов все больше полевывали — ни тебе дела, ни тебе хлеба! — сообщали со всех концов: видим миражи!

Однако вот обида-то! Не корабли, не заморские дворцы-палаты, не груды сокровищ, навьюченных на горделивых верблюдов, а вовсе прозаические картины являлись людям. Привычные огородные грядки, плодовые сады и мирно пасущиеся коровы. А то и просто леса, где пушного зверя не счесть — как прежде. Царь-государь гневался. До чего у людей воображения мало! Однако лучше, чем ничего, — и то ладно. Все-таки миражи.

И велел царь-государь придворному летописцу записать потомкам в назиданье: «Благодаря настойчивой предприимчивости нам удалось превратить цветущий наш край в настоящую пустыню!» И он был прав: такова сила подражания и тяги к иноземному.



Илья Зыков

ЗДРАВСТВУЙ, СОХАТЫЙ!

Нередко можно услышать, прочитать, что лоси заходят на окраины городов, в селения, вообще в людные места. Как правило, люди относятся к лосям гуманно.

Некоторое время тому назад жители Маринска постоянно наблюдали такую картину: из лесочка по луговой дорожке к городу шла сторожиха пионерского лагеря Елизавета Михайловна, а за ней шаг в шаг лосенок. В городе она шла в магазин, а лосенок по имени Малыш дожидался свою хозяйку на улице. Обычно около него собирались любопытные, и лосенок получал угощение.

Первое время это был, действительно, малыш. Но с каждой неделей он заметно подрастал, и осенью в город приходил уже красивый лось.

Не напрасно он вызывал интерес у людей. Кто еще, кроме собаки, мог бы ходить за своей хозяйкой, и кто бы мог быть таким миролюбивым, простодушным по отношению к людям?! Он любил людей. И люди любили его.

Безусловно, многие сибиряки видели издали лося. А некоторым удавалось встретиться, что называется, лицом к лицу где-либо в лесу с сохатым, с лесным великаном, украшенным широкими роскошными рогами.

Рассказов о лосе в народном эпосе не так много, но когда о нем говорят, то так и вырисовывается спокойный и могучий зверь, которого не надо бояться, который ничем не обидит.

Один областной работник как-то в разговоре о природе рассказал мне:

— Я был в восточных районах области и, представьте, первый раз в жизни повидал лося. Мы ехали проселком за Чебулами, когда он вышел из небольшого леска и пошел по полю. Конечно, мы остановились и смотрели, пока он не скрылся в лошину. Шел он не торопясь, без боязни, хотя и близко от нас... Какое удовольствие повидать своими глазами такого замечательного зверя. Право, этой встречи не забуду!

Писатель Юрий Нагибин увидал лося в саду своей дачи. Он не только любовался этим зверем, он прикоснулся к нему ладонью. И побежал звать семейных, чтоб и они пережили незабываемую встречу.

Вслед за зубром, лось — самое крупное лесное копытное животное. Бык иногда достигает в длину до трех метров и весом бывает в полтонны. Вот такой великан! И на большой голове лопатообразные рога с отростками. Как корона. Лопаста рогов напоминают древнюю соху. Отсюда лесной зверь получил от народа еще одно название — сохатый.

Помню, наш поезд шел между Юргой и Болотной вдоль лошины, заросшей березняком. И вот на открытое пространство очень близко к поезду вышли два молодых лося, высокие, стройные, белоногие, с лоснящейся темно-пепельной шерстью. Гордо подняв головы, они шагали, не обращая внимания на поезд, в котором, наверное, не было ни одного человека, равнодушного к этой встрече. Все бросились к окнам,



Сохатый. Фото Юрия Сергеева

И что еще характерно: сохатый вызывает у людей не только любовь, но и почтение. Многие жители тайги заслужили такое отношение.

Я часто видел лося и в природе, и в парках. Наблюдал превращение слабенького теленка в красавца, развитие его характера. В первый раз я увидел лося, убогонького, пугливого, во дворе Дома пионеров, куда его доставили сплавщики леса, подобравшие малыша на берегу реки. Очевидно, отстал от матери, остался сиротинкой!

Березняк, травы, лесной воздух, внимание Елизаветы Михайловны, хороший корм, молоко от коровы. И неделя за неделей лосенок, как полагается, рос и креп. Выросши, он тем не менее остался домашним животным, очень мирным и бесконечно преданным всем, кто ему делал добро.

О лосе-сохатом у нас есть литература с подробными описаниями жизни, поведения, миграций. Лось довольно распространен лишь в северном полушарии. В Америке он явля-

ется жителем лесов в северной части Соединенных Штатов и Канады. В Европе он житель лесов Скандинавских стран. Так, в Норвегии лосей насчитывается 20—26 тысяч, в Швеции 120—140 тысяч, в Финляндии до 30 тысяч. У нас его больше, чем где-либо: в Российской Федерации в 1970 году насчитывалось около 500 тысяч, а в 1975 году уже 670 тысяч. По всей же стране — один миллион.

У нас он живет в сибирской тайге, в лесах Европейской части страны и даже в урочищах лесостепи, вообще — от Балтики до Тихого океана, от полярного круга до степей.

Показателен ареал лося по нашей области. Хотя сохатый в основном насельник равнинной тайги, его можно видеть также в тайге предгорий Кузнецкого Алатау, в Горной Шории, в лесах Салаирского кряжа, иногда по долинам горных рек, в борах и в рощах лесостепи, а порой даже в колках, если тут сохранилось высоколесье. По долинным лесам лось уходит в горы, правда, держась этих долин-

ных лесов. Кемеровские охотоведы обнаружили лосей, например, по долине реки Теба в Алатау. Не случайно, что даже на сравнительно ограниченной территории Кемеровской области лосей насчитывалось около 8 тысяч (по данным 1977 года).

...Во второй половине сентября и в октябре в лесах можно услышать трубный звериный рев. Это повторяется из года в год (месяц сентябрь в старое время назывался в народе ревуном). Это начался гон у лосей.

Сохатый в это время так охвачен чувством любви, что только и занят тем, что вызывает соперника, ищет с ним встречи, чтоб на глазах лосихи сразиться, а после победы подойти к ней. А она тут недалеко стоит, смотрит на борьбу противников и ждет победы.

Браконьеры пользуются повышенной возбудимостью зверя и подманивают лосей тем, что трубят в рог, подражая реву лося.

Но это связано с риском. Во время гона лоси могут быть опасны даже для человека. Один знакомый лесник как-то рассказывал:

— Ничего не ожидая, я вышел на поляну, и вдруг с другой стороны выскочил разъяренный лось. Признаюсь, я струхнул. В таком состоянии лось страшен. Хорошо, что я смог отступить к деревьям. Отошел медленно, глядя ему прямо в глаза. И все-таки не помню, как тогда ушел.

Постепенно угасают яркие краски золотой осени, заканчивается и борьба быков-лосей, и уже животные держатся дружными парами. А в октябре — ноябре лоси-быки начинают терять рога. Сколько месяцев они росли и были украшением и признаком силы. И вот... Между прочим, не раз приходилось задумываться, куда же упавшие рога деваются? Почему так редко можно найти эту красу?

Ну где-то они завалятся в болоте. Но не все же. Оказывается, множество таежных грызунов, мышевидных насельников леса бросаются на лосиные рога и погрызают их. Их организму нужно роговое вещество. Так что в природе ничто не пропадает напрасно.

Как только начнутся зазимки и ляжет снег, лоси парами, подчас группами переходят от летних пастбищ в те места, где они из года

в год проводят зиму. Начинаются местные сезонные миграции.

Зимовья лосей расположены от летних пастбищ на десятки километров. У нас они есть в Горной Шории, в Кийской тайге по грани с томскими лесами, по Салаирскому краю, в Барзасской тайге. Широко известно зимнее стойбище в Антибесской тайге, куда идут лоси даже с левобережья Томи. В большинстве случаев миграционные дороги и места зимних стойбищ теперь уже известны егерям и лесникам.

Немногие животные остаются и на летних местах — не мигрируют. По-видимому, это бывает в тех случаях, когда мало снега и достаточно корма, скажем, стоят стога сена, вообще хорошие кормовые угодья, и если здесь лосю не угрожают люди, нет стрельбы и обстановка спокойная. Так бывает, например, на некоторых кордонах, в заказниках.

На зимовьях их скопится много, иногда, как бывало в Антибесской тайге, по несколько десятков. Зимние стойбища обычно богаты кормами. Скопления быков помогают стаду сохраняться от хищников. Обеспеченность кормом особенно важна для диких животных. В морозы его требуется больше.

Проходит длинная тяжелая для диких детей природы зима. В феврале-бокогрее морозы слабеют, в марте, несмотря на вьюги, начинаются оттепели, встречи зимы с весной, шубы с кафтаном. А в апреле уже «федул — теплом подул».

В апреле в зависимости от хода весенних явлений лоси с зимовий начинают расходиться. Ранняя весна — раньше, поздняя — позднее. Идут на прежние летние пастбища, а на весенний период часто в речные долины, как говорят охотники, на острова, где происходит отел. Идут группами, парами. Лосихи к тому времени на последней стадии стельности. И вот-вот должно появиться новое поколение, лесная детвора. И не случайно лосиху в такой период часто охраняет лось.

В мае под птичьи песни, под ярким солнцем, в мареве зелени появляется молодежь.

Лосиха родит одного, а иногда и двух телят, но, как замечают лесники и охотники, часто один из двух погибает или отстает от

матери. Таких сирот нередко встречают в лесу люди, подбирают их и вскармливают, как обычных домашних телят.

Как-то во время своего похода по кийским лугам в районе Благовещенки я ночевал на стану у пастухов. Вечером мы увидели у изгороди лосяку с лосенком. Лосиха не сдвинулась с места, а только внимательно смотрела на нас, как говорится, во все глаза.

— С весны к стаду пристала, — рассказывали мне пастухи, — и вот ночует тут же, только по другую сторону изгороди.

— А вы на зиму устройте ее на свою ферму. Вероятно, пойдет?

— Не особенно уверены. Надо ей какие-то другие условия зимовки, а не хлев. Может быть, и хлев, но и лес ей нужен.

И пастухи рассказали такой случай. В одном хозяйстве лосенка поселили на зиму с телятами в телятник. Он хорошо ел, был подвижен, весел, но зимою все же погиб. Вскрытие показало, что у него совершенно больными стали легкие. И вывод: дикого лосенка нельзя держать в хлеве, ему нужен лесной воздух и движение.

Это так. Не случайно на лосефермах лоси ежедневно уходят кормиться в тайгу и вообще проводят много времени на свежем воздухе.

Если лосенок родился на ферме или попал к людям в возрасте нескольких дней, он быстро привыкает к человеку и, выросши, становится домашним животным. Как это бывает едва ли не со всеми дикими животными.

Путем приручения только что родившихся диких телят у нас в стране были созданы лосефермы. Первая в Печоро-Илычском заповеднике. А затем началось уже обычное культурное выращивание молодняка. Лось стал домашним животным.

Профессор Андрей Григорьевич Банников пишет:

«Наскальные рисунки в Сибири свидетельствуют о том, что древние жители Якутии, Енисейской тайги и Прибайкалья использовали лося как домашнее животное. Видимо, лосеводство практиковалось также в Скандинавии и Прибалтике, но почему-то было заброшено».

Интересный и обстоятельный опыт Печоро-Илычского заповедника быстро нашел последователей, и теперь лосефермы есть в Белоруссии, в Костромской области и в ряде других мест лесных районов страны. Опыт показал, что лось ценен для человека во многих отношениях: он послушное выючное животное в сложных таежных условиях и даже может стать ездовым животным в упряжке. И само собою, это «поставщик» мяса. В общем, лось перспективен в условиях лесной зоны, и теперь уже накопился достаточный опыт рационального ведения лосиного хозяйства.

Может быть, устройство лосеферм заслуживает внимания и у нас в равнинной тайге и в тайге предгорий. Здесь много отличных угодий для выращивания и содержания стада.

У лося в природе немало врагов: медведь, волк, рысь, росомаха. Чаще от них гибнут молодые лоси. Лось-бык бьется не на живот, а на смерть. Одолевает его волчья стая, но немало нападающих гибнет от копыт сохатого. Одолевает медведь, но бывали случаи, когда лось отбивался и от него. Чтоб победить сохатого, хищникам приходится хитрить, прыгать внезапно с дерева, как это делают рысь, росомаха и даже медведь, а волкам гнать по насту, когда лось обдирает в кровь ноги и быстро слабеет.

К сожалению, еще не изжито браконьерство. В руках браконьера — огнестрельное оружие, иногда он пользуется машиной, чтоб загнать испуганное животное. Не так трудно и подкараулить сохатого в глухой чаще, на выпасах.

Но можно привести много случаев благородного, гуманного отношения людей к лосю. Вот что мне, например, рассказал один инжениер.

— Летом я проводил отпуск у своего брата в селе. Как-то брат поехал в поля, я присоединился к нему. Ехали мы по окрайке тайги, по берегу таежной речки. И вдруг услышали испуганный дикий рев лося. Прислушались. Брат говорит:

— Что-то случилось со зверем, кричит так, будто погибает.

Я засмеялся, стоит ли обращать внимание на рев. Но брат серьезно возразил:

— Давай доберемся до него, посмотрим.

На поверхности болота была только большая рогатая голова, а могучее туловище уже полностью погрузилось в топь. Как зверь попал в такую ямину в нескольких шагах от берега, трудно сказать.

Держась за наклонившееся дерево, я свесился почти над самой лосиной головой и, прямо скажу, был потрясен взглядом животного. В нем были страдание и мольба, мол, выручайте, братцы!

Мы принялись за работу. Рубили ветки и бросали их в болотистую яму. И раз за разом видели, что ветви уже образуют какую-то опору для зверя, и он, подминая их под себя, заметно поднимался из ямы.

Потом мы нашли толстый осиновый ствол, разрубили на части и бросили под грудь сохатого. Толстые сутунки оказались надежной опорой, зверь, напрягши все свои силы, сделал резкий прыжок и очутился на сухом берегу.

Он не убежал. Минуты три стоял, глубоко дыша, и смотрел на нас довольно спокойно.

А мы смотрели на него.

Потом лось пошел не торопясь по открытому берегу, переплыл реку и скрылся в зарослях.

Ограничены пространства Кемеровской области, по существу ограничены и леса, а фауна у нас тем не менее разнообразная, и в этой фауне числятся несколько тысяч лосей.

Надо беречь это стадо, регулировать его численность в соответствии с кормовыми ресурсами и с интересами лесного хозяйства. В морозные зимы, когда мало кормов, надо в местах зимовий лося, и тем более в заказниках, заготавливать корм, чтоб не было падежа. В самом деле, не так уж сложно поставить в местах зимовок два-три стога сена, заготовить осиновых веток. Это даст возможность сохранить стаду, приучит животных держаться в заказниках.

В заказниках можно наблюдать, как подкормка в самом начале зимы удерживает лосей от миграции.

Лоси — солидный резерв нашей дикой лесной фауны. И надо смотреть на этого зверя как на полудомашнее животное. А в будущем он станет домашним...

И тогда, встречая идущих длинной цепью на лесные выпасы и позванивающих бубенцами больших спокойных животных, люди поднимут шапки и скажут приветливо:

— Здравствуй, сохатый!..

Гарий Немченко

ЧЕТЫРЕ ЭТЮДА

МАЛАЯ ПТАХА

Вспоминаю всякую охоту в тайге, но ни одна не вызывает такой щемящей грусти и такого раскаянья, как эта — на рябчика в «спанках»... Время для нее — это полчаса или, самое большое, час: от ранних до поздних зимних сумерек. В эту пору ты обычно уже здорово устал, уже возвращаешься к ночевью и где-то на краю опушки среди заснеженных калинников останавливаешься вдруг, опять снимаешь с плеча тяжелое ружье, и сердце твое замирает от предчувствия какого-то особенного состояния...

Идешь совсем медленно, под лыжами еле слышно шуршит, поскрипывает, и на потускневшем от предвечернего света снегу замечаешь впереди три или пять недалеко одна от одной разбросанных ямок, величиной с кулак, и по обе стороны от каждой — мягкие еле заметные вмятины с рубцами от крыльев. Это вход в «спаночку», а выхода впереди не видно — значит, свежая, значит, птицы только что упали в снег, только что замерли в глухой тишине под ним. И знаешь все это наверняка, и ждешь, что вот-вот поднимутся, но выпорхнут рябки все равно неожиданно, и каждый раз ощущаешь такое, словно взлетели не изпод ног у тебя, а вырвались из-за пазухи — так отзывается душа на тугое и частое хлопанье крыльев...

Они ведь уже дремали себе, пригревшись, и, полусонные, летят теперь ошалело, садятся недалеко, где придется, и, трепеща крыльями, осыпают снег и соскальзывают с веток. В это самое время, когда они, судорожно стараясь удержаться, висят на одном месте, и гремят выстрелы, а кругом уже помутнело, поси-

нело так, что хорошо видеть летящее из стволов пламя, и рябчик, когда подберешь его, кажется тебе, несмотря на покрепчавший мороз, особенно теплым...

Из леса выходишь, когда уже стемнело совсем, за пустыми лугами, за негустым тальником вдалеке умиротворенно мерцает тихий огонек, и ты теперь точно знаешь, что все, уже не заплутаешь, и отступившая было усталость опять наваливается, из-за нее да из-за только что пережитого тобою азарта все в тебе подрагивает, в ушах громко шуршит, ощущаешь в себе хорошо слышные толчки крови, тугой и гулкой ее ток, и в эту минуту особенно сокровенно думается о вечернем умиротворении человеческого жилья — будь то крестьянская изба, к которой ты держишь путь, или каменный, залитый электричеством город, — и думается еще о многом, связанном с мягкими от ковров гостиницами, с шумными разогретыми питьем ресторанами, с горячими, неукротимо бегущими посреди завьюженной степи поездами, с одиноками на страшной высоте и потому особенно гордыми белыми лайнерами, с просторными аэропортами, с набитыми теплым человеческим запахом вокзалами...

Странная эта минута после убийства тихой, уже уснувшей было в ненадежном своем жилище маленькой птицы — странная! Отчего живет в тебе в эту минуту удовлетворенный покой? Неужели от подсознательной радости, что существование твое более прочно, чем существование уже коченеющей в твоём рюкзаке растрепанной гулким выстрелом лесной птахи?..

ЗАЗИМОК

Однажды в октябре зашел я в городской парк, сел на скамейку, притих.

День был солнечный, но с легким морозцем,

и такая же, как он, легкая среди сквозивших деревьев, робко замерла тишина.

Пахло холодноватой прелью и еще чем-то

неуловимо осенним — то ли сыростью, то ли последними, уже тронутыми инеем грибами.

Я всласть дышал этим запахом, опять звавшим куда-то за город, куда-то будто бы очень далеко, как вдруг увидел: на прозрачный ледок, затянувший лужицу на асфальте, с лета сел взерошенный воробей... И тут же ледок хрустнул. Я уловил этот еле слышный тоненький хруст. Крошечный воробей заплясал и заоскользнулся на белых прожиаках, которые медленно прогибались у него под лапками, потом судорожно вамакнул крыльями и стремительно рванулся вбок, а туда, где он только что сидел, стала натекасть темная вода.

И мне вдруг стало отчего-то смешно и чуждо грустно.

Подумалось о том, какая в наших сибирских краях снова может случиться зима: через речку будут грохотать по льду тяжелые тракторы. Бульдозеры сутками будут урчать в снегах между таежными деревеньками, и опять по бокам дорог встанут такие хребты, что за ними ничего не увидишь даже из кабины большого грузовика. Снова начнут повторять историю о том, как перед одной машиной долго бежал и бежал огромный лось, все никак не мог перескочить на обочину, и шофер, бед-

ный, не знал, что ему делать — и жаль без устали гнать впереди себя уставшего бедолаго-зверя, и некогда ждать, пока он, наконец, отдохнет, соберется с силами.

Для рысей опять настанет в тайге бескормица. Попробуй-ка поохотиться, если под тобою больше пяти метров снега, который еще не успел слежаться. И на брюхе выползут рыси к лыжне, по ночным дорогам пойдут в город, к жилью, будут рыскать на задворках столовых, нюхать теплый и сытный парок возле них. Снова их увидят мальчишки, и кто-то отчаянный опять набросит пальтецо или шубейку на голову этого зверя, с которым в тайге лучше не встречаться, и городская газета напишет об этом под тем же заголовком: «Рысь в центре города».

И будут долгие метели, и сугробы под балконы на втором этаже, и морозы, от которых захватывает дух и от которых лопаются железо.

Будет сибирская зима.

А пока этот кроха-воробышко сел на ледок, и тот не выдержал, проломился под ним — чудно!

Пока такая пора — зазимок.

ОСЕННИЕ КОСТРЫ

Вечерами глубину темнеющих улиц затягивает сизым дымком — жгут опавшие листья.

В этом маленьком городке их тщательно выметают из полегшей травы жесткими венниками, выскребают граблями и под черными опустевшими деревьями трава потом стелется, как расчесанная... А рыжие вороха листьев сваливают на куски брезента, на старые клеенки, на серые прорезиненные фартуки и сносят в кучи, над которыми потом долго пластается первым холодком прижатый к теплой земле сырой дымок.

В обычае этом здесь кроме желания чистоты есть, и правда, что-то древнее, почти языческое.

Неспешные эти костерки курятся почти у каждого двора. Запаха прели в этом южном городке никогда не услышишь, ощущение осени связано здесь только с щекочущим ноздри горьковатым дымком...

Опершись на грабли, стоят, покуривая у костров, молодые мужчины, смотрят на медленно тлеющие листья древние старухи, сидящие на лавочках около калиток, снуют по улице, поднося в костер, малые ребята. На днях видел: около совсем крошечного костер-

ка, сунув озябшие руки в карманы старенького пальтеца, на короточках тихонько сидел нахохленный, лет четырех, одинокий мальчонка, задумчиво смотрел на крошечный, который он только что так долго раздувал, огонек.

Может быть, с первыми холодами просыпается в человеке спокойно себе дремавшая летом тысячелетняя тяга к огню?.. Или разноплеменным жителям этого лежавшего в долине у подножия Кавказа маленького городка, где давно уже топят газом, все-таки не хватает и сухого шелеста огня, и потрескивания сучьев, и гула пламени, не хватает едучего, от которого слезятся глаза, дымка, не хватает кисловатого его запаха?.. Или над Кубанью, такую теперь многолюдной, синими осенними вечерами все еще не слышно подмаргивает зарево далеких кочевий, все еще призрачно дрожат отблески городских очагов, все еще безмолвно полыхают отсветы первых тут русских печек, и все эти костры от листьев в первую холодную пору — это смутное желание вечернего тепла и благостного спокойствия, желание мира не только дому своему и дому чужому, но и умиротворенного согласия своей душе...

ХРАНИТЕЛЬНИЦА СВЕТА

Деревенька называлась Чистая Грива, и название это подходило ей как нельзя больше. Лепилась она на пологом склоне довольно высокой сопки, расположенной в пойме реки посреди просторной, темной, зубчаткой пихтача отороченной со всех сторон котловины, а за нею на вершине, на самом ее взлобке, рос молодой и ровный, без всякого подмеса березняк.

Несколько дней перед этим все собиралась метель, и он упруго шумел, гладкие бока деревьев стали шершавыми, на них трепетали почти прозрачные лоскутки тонкой кожицы. Заячьи неглубокие следки здесь и там были засыпаны похожими на свежие стружки изжелта-белыми завитушками, а по насту катились и катились туго скатанные берестяные грамотки...

Несколько думалось, что под косыми, острыми от колючего морозца порывами ветра погибнет удивительная белизна, но когда кругом стихло, когда распогодилось, наконец, березняк стал словно еще белее и чище. Весь день, пока солнце от одного края котловины перекачивалось на другой, он так светился, что приходилось щуриться, а небо над густыми метелками верхушек сияло такое голубое, будто на дворе стоял апрель, а не февраль.

Вечером я увидел сквозь деревья, как вдалеке, над синею зубчаткой пихтача плавится перекаленный закат, как вытекшее наполовину солнце оседает за краем котловины. Сразу сделалась темь, фиолетовым стало небо, и крупные звезды, когда я поднял голову, уже подрагивали над молчаливыми снегами. Кругом наступила ночь, и лишь березняк все еще ярко белел, словно продолжая удерживать среди стволов остатки дневного света.

И я остановился и притихшей душой долго вбирал в себя этот странный удивительный свет, и все не проходило ощущение, что мне приоткрылась тайна...

Когда наезжал в Чистую Гриву раньше, был я куда счастливее, а теперь мне пока предстояло притерпеться к бесконечной, как мина замедленного действия, вложенной в сердце боли от утраты младшего сына, совсем еще маленького, еще в ангельском, как раньше считалось, возрасте мальчика, который сам бывал в этих местах тогда, когда его только ждали...

И вот не он бежит за мною днем на коротеньких лыжах, а поспешает, то и дело проваливаясь и зарываясь печальной мордочкой в снег большая и черная, как наказание, собака. Ложится на лыжне, начинает с хрустом обкусывать лед на мохнатых лапах, а я вижу ее и не вижу, и все думаю об этом: как дальше жить, во что мне верить, во что не верить...

Спросили — не ответил бы, что приезжаю сюда искать, но этот короткий миг, когда стоял пораженный, что безвозвратно ушедший день все еще остался посреди берез и заметен, показался мне тогда посланным кем-то знаком.

Изба, в которой я жил у знакомых старика и старухи, стояла почти на вершине сопки, была крайнею, и за окном, когда погасили электричество, я снова видел среди березовых стволов размытую белизну и потом, когда просыпался, тоже почему-то подолгу смотрел и смотрел, как белеют, как среди мрака ночи хранят меж собой деревья пусть почти призрачный и все-таки негасимый свет.

Синим утром я снова пошел через березняк на лыжах.

Ночью ударил сильный мороз, и вся котловина вокруг сопки с Чистой Гривой на склоне была затоплена плотной темно-серой дымкой, но здесь, среди берез уже ютился зыбкий рассвет и почти на глазах все дальше и дальше отступали от него, пропадали остатки ночи.

Небо над гребешком пихтача уже лизнул красный язычок, и я решил поскорей пересечь ложбинку, чтобы встретить восход на ровном месте, но собака моя замешкалась, отвлекла меня, и, когда я вышел на взлобок, солнце уже поднялось, уже разбилось о черный угол крайней избы, и молочно-белый березняк, пропитый его лучами, весь был залит розовым дымящимся светом.

Опять я притих, глядя на деревья, которые так до конца и не поддались мраку, которые первыми теперь ослепительно, непобедимо вспыхнули, и снова промелькнуло, что я пока даже не подозреваю, как мне, может быть, вчера и сегодня повезло...

г. НОВОКУЗНЕЦК — г. МОСКВА

Мэри Кушникова

СЧАСТЛИВЫЕ И ГРОЗНЫЕ ДНИ ДОСТОЕВСКОГО

Знакомство. Это было в 1977 году в более чем скромном углу одного из залов Новокузнецкого краеведческого музея. С фотографии глядел человек в мундире. Скуластый, с жестким лицом. Взгляд до того настойчив, что кажется пронзительным. Федор Достоевский. Тот, что пишет о себе: «Я — человек маленький», и заявляет: «Мое имя стоит миллиона!». На другой фотографии — женщина, с высоким, ясным лбом, с глазами темными, глядящими пристально и настороженно. Что-то сумрачное, цыганское в чертах. Это Мария Дмитриевна Исаева, урожденная Констант, в каком-то колене француженка по отцу.

Тут же в экспозиции музея — фотография лиственницы. Именно она, — увя! срубленная ныне, — была свидетельницей прогулок счастливой четы.

И еще — фотография Одегитриевской церкви. В ней 6 февраля 1857 года обвенчались Федор Михайлович Достоевский и Мария Дмитриевна Исаева. Со дня венчания их в тот год прошло — 120 лет.

Не столь долг и вовсе не счастлив был этот брак, — так надо ли говорить о том венчании как об особенном событии?..

Попытаемся заглянуть на сто лет назад.

Как любой роман, тот, что разыгрался (а он именно «разыгрался», как разыгрывается буря или ураган) между Достоевским и Исаевой, имел сочинителя, фабулу, героев, как любой роман, — и этот тоже получил закреплен-

ный временем «штамп восприятия».

Сочинитель... К «грозным и счастливым кузнецким дням» Достоевский и Исаева стремились более двух лет. Все до того — центро-стремительное тяготение друг к другу, все после — центробежное отталкивание личностей сильных, самобытных, а потому несовместимых.

Возможно, «грозное чувство» к Исаевой (великий писатель так и называл свое тогдашнее состояние) испытывал не столь Достоевский-человек, сколь Достоевский-сочинитель, и все время, до самых «кузнецких дней», он скорее «дописывал» свое чувство и «достраивал» действо своего романа, а Исаева оставалась не выдуманной, а реальной его героиней.

Может быть, Достоевский, душеописатель униженных и оскорбленных, не проникся бы «грозным чувством», не будь Исаева настолько обделена судьбой. Может быть, Достоевский не обогатился бы впечатлом, который отложил короткий кузнецкий период на всю его жизнь, будь супруг этой женщины, Александр Иванович Исаев, не просто «неисправимый алкоголик с самыми грубыми инстинктами и проявлениями во время своей невменяемости». Но он был также «человек достаточно образованный, ставший к Достоевскому в приятельские отношения и гостеприимно принимавший его в своем доме» (П. П. Семенов-Тянь-Шанский).



Дом Достоевского в Новокузнецке. Здесь и далее фото к статье Виктора Сергеева

...И героиня. Уроженка Астрахани Мария Дмитриевна, дочь директора гимназии (впоследствии начальника карантина), сама успешно окончившая курс обучения в гимназии (тоже редкость по тем временам для женщины среднего круга), выходит замуж за учителя Исаева и тем самым связывает свою судьбу с человеком, который неотвратимо тянет ее ко дну. Из родительского дома она следует за ним в Семипалатинск, а затем в Кузнецк, по сравнению с которым даже Семипалатинск (Достоевский называет его «Семипроклятинск») — большая столица. В Семипалатинске, а еще позже в Кузнецке, по мере падения супруга, Мария Дмитриевна — изгой. В семипалатинских гостиных злобно шипят: «Связалась с ссыльным солдатом», — это с Достоевским. Исаева, почти нищая, в нищенском своем доме доверчиво приютила дочь ссыльного поляка Ордынского, и тут уж вовсе смятение: «Сама не всякий день обедает — а туда же, благотворительствует!».

Вырисовывается, вырисовывается образ, вполне соответствующий сумрачному лицу с кузнецкой фотографии...

Фабула. На последнем рубеже падения А. И. Исаева удастся пристроить в Кузнецк «служащим по корчемной части» (в семипалатинско-мордасовских салонах злобно хихикают: поистине впору назначение!). Май 1855 года. Отъезд. Вслед перекладной телеге долго глядят двое. Солдат Достоевский — в будущем звезда российской литературы, и молодой прокурор Врангель — в будущем известный русский путешественник и дипломат, который много позже писал об этом прощании: «Отчаяние Достоевского было беспредельным, он ходил как помешанный при мысли о разлуке с Марией Дмитриевной, ему казалось, что все для него в жизни пропало... сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок».

Кузнецк. Напряженное одиночество. Окончательное падение «чиновника по корчемной

части». Вперемежку — бурные и жалостные периоды раскаяния. Недоброжелательное любопытство чиновничьего «света» (Кузнецк и Семипалатинск — один регион, и мордасовские нравы — гибрид виденного в Семипалатинске и Кузнецке). Сочувствие соседей вызывает только Паша Исаев, озорник-подросток, «безотцовщина». Пуще всего гнетет «благородная» бедность, которую нужно скрывать как дурную болезнь. Переписка с Семипалатинском идет оживленно. В ответ на мольбы Достоевского — короткие призывные записки. И вот уже мчатся в Змеиногорск, — это на полпути между Семипалатинском и Кузнецком, — на назначенную встречу друзья, Достоевский и Врангель. И как назло все время что-нибудь случается. Неимоверных усилий стоит найти оказию и сообщить, что-де встречи не будет. Но вот из Кузнецка в Семипалатинск отправлено письмо. Исаева свободна. Исаева бедствует. Исаевой не на что похоронить мужа. Кто-то из сердобольных кузнецан посылает Исаевой три рубля. И она эти три рубля берет, потому что «нужда руку толкала принять подаяние».

Первая интермедия, ведущая в сегодня. Она еще не знает, что в эту минуту не просто милостыню взяла, а вписала одну из впечатляющих страниц в будущий роман «Преступление и наказание», где точно так, и точно в тех же обстоятельствах поступит Катерина Ивановна Мармеладова, и точно так же будет сетовать: если бы не бедность, разве такие б похороны устроила она мужу...

И не знает она, что не сохранится в Кузнецке хомяк, под которым упокоился чиновник Исаев, умерший 4 августа 1855 года.

Передо мной публикация «Ф. М. Достоевский в Кузнецке», увидевшая свет в 1904 году в Томске в «Литературном приложении» к газете «Сибирская жизнь». Автор, Валентин Федорович Булгаков, последний секретарь Л. Н. Толстого, до конца своих дней проживавший в Ясной Поляне, был уроженцем Кузнецка. Будучи студентом Томского университета, он часто наезжал в родной город и беседовал со старожилами, очевидцами кузнецких дней Достоевского. Публикация юного Булгакова не нашла широкой гласности, так

как автор, по его же словам, — «вовсе о ней забыл». Однако посетив родные места в 1958 году, Булгаков побывал в домике Достоевского и вспомнил о своей ранней публикации. Фотокопию с нее он подарил другу детства и коллеге по Томскому университету, тоже старожилу Кузнецка, Константину Александровичу Воронину, сотруднику Новокузнецкого краеведческого музея.

Итак: «Перед самым отъездом в 1857 году на могилу Исаева, где стоял лишь деревянный крест, была положена чугунная плита, изготовленная по распоряжению М. Д.» (ведь плита отливается не за день-два, ее должны были заказать с большим запасом времени, и не для этого ли сооружения были взяты в отчаянии у Врангеля 50 рублей! — «Я вам отдам непременно, но не скоро!»). На Кузнецком кладбище Булгаков отыскал могилу и прочел эпитафию. «Мне кажется, едва ли Фед. Мих. и его жена предпринимали что-нибудь тогда, не посоветовавшись предварительно, а если так, то мы имеем основание предполагать, что Фед. Мих. участвовал в составлении этой эпитафии», — пишет он.

А эпитафия гласила: «Аз есмь воскресение и живот, веруй в мя имать живот вечный». Но разве выбор эпитафии не предопределял уже тогда роль, которую Достоевский отводил Исаеву в своем будущем творчестве? Ведь эпитафия эта — слово к «бедному Иову» (так называл себя сам Исаев), сидящему на пепелище, покорному, не ропщущему, которому за муки воздастся сторицею в мифическом загробном мире. Увы, Достоевский не мог в ту пору для Исаева подобрать иных слов, — ведь и он сам немало участвовал в обездоленности «маленького человека», и свою вину облегчал, посулив тому бессмертие. И тогда — утрата надгробной плиты А. И. Исаева разве не равноценна утрате блокнотной записи писателя или этюда художника? Но снесено старое кладбище, и из истории города Кузнецка исчез единственный след скромного чиновника, который был знаменателен дважды. Именно он послужил прототипом для одного из самых известных героев Достоевского и тем самым вошел в мировую литературу, потому что драма этого «униженного и оскорбленного» не



М. Д. Исаева

могла не поразить Достоевского-сочинителя своей типичностью — «Если были в нем недостатки, наполовину виновата в том его черная судьба. Желал бы я видеть у кого бы хватило терпения при таких неудачах» (из письма к Врангелю). Притом — чиновник Исаев, вооруженный всего лишь своей незащищенностью, сумел наметить для Достоевского первый виток «кузнецкого узла». В течение почти двух лет «маленький человек» смущает защитника «униженных и оскорбленных», оказавшегося перед ним в весьма двойственном положении — «Вы его мало знали. Боюсь, не виноват ли я перед ним, что подчас, в желчную минуту, передавал вам и, может быть, с излишним увлечением, одни только дурные его стороны. Он умер в нестерпимых страданиях, но прекрасно...» (из того же письма к Врангелю).

Кто знает, когда написаны были страницы о Мармеладове, — и не только! — не приносил ли Достоевский-сочинитель «повинную» памяти Исаева, обиженного Достоевским-челове-

ком. Мог ли чиновник по корчемной части — после которого и фотографии-то теперь не сыскать — мог ли он представить масштабы задачи, загаданной им писателю Достоевскому? Кузнецку, может, следовало бы задуматься и негласную роль Александра Ивановича в мировой литературе отразить хоть косвенно в экспозиции Новокузнецкого краеведческого музея, коль дома-музея Достоевского в Новокузнецке все-таки пока нет. И еще будет ли?

Примечание к фабуле. Итак, Мария Дмитриевна Исаева свободна, и фабула ее романа вышла, кажется, на прямой путь. И что же? Достоевский на ней жениться не может — сам беден, унижен, бесправен.

Но вот находится в Кузнецке «добрый человек», приятель покойного Исаева, учитель Николай Борисович Вергунов, уроженец Томска, двадцати четырех лет от роду, и сам не так давно живущий в Кузнецке. Исаева подумывает о браке. Почему бы?

Она пишет Достоевскому и спрашивает совета: «А что, если человек пожилой, обеспеченный...» Она пишет неправду. От Достоевского ей нужна «индальгенция». Чтобы он сам разорвал невидимую цепь, неотвратимо влекущую к грозным и счастливым кузнецким дням. Почему бы?

Достоевский примчал в Кузнецк. Рискнул. Имел дела по службе в Барнауле, а уж отсюда-то... Состоялась встреча, все более затягивающая узел. Что такое — Вергунов? И вот уж Достоевский устанавливает с ним чуть не дружеские отношения, Вергунов рыдает у него на плече! — вполне «по-достоевскому»...

Исаева имеет свое понятие. Кузнецк, в отличие от Семипалатинска, даже как будто «пригрел» ее. У Марии Дмитриевны даже появились близкие друзья: семья окружного исправника, Иван Миронович и Анна Николаевна Катанаевы, и теперь ей уже не так одиноко. И, похоже, она вовсе не торопится замуж. Даже за Достоевского. И именно за него. Почему бы?

Странно, но о браке не говорит и Достоевский! Напротив, совершенно «по-достоевски» он хлопочет о предоставлении учителю Вергунову более выгодного места. Что это? Отказ от Исаевой? Снисходительность и даже

расположение к удачливому сопернику? Отнюдь и отнюдь!

Отправлено в Кузнецк некое «общее» письмо, адресованное вместе Исаевой и Вергунову. В нем изложены все сомнения, возникшие после того, как в Кузнецке состоялась встреча соперников, о чем сообщается другу Врагелю: «Будь он хоть разidealный юноша, но он все-таки не крепкий человек. А он не только не идеальный, но... Я представил все, что может произойти от неравного брака... А он истинно по-кузнецки и глупо принял себя за личность, и за оскорбление — дружескую, братскую просьбу мою (ибо он сам просил у меня и дружбы и братства) подумать о том, чего он добивается, не сгубит ли он женщину для своего счастья, ибо ему 24, а ей 29, у него нет денег, определенного в будущем — и вечный Кузнецк».

Очевидно, ключ к странным хлопотам Достоевского о сопернике — в словах: «У него нет денег». («Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь...») Достоевского лихорадит! Но это только на первый взгляд. На самом деле — это «предельная» ситуация, когда всем уже не до приличий, потому что речь идет о спасении человека. А по сравнению с этим — что такое условности? Вполне логично. Но как похоже на «страницу из Достоевского»!

Вот мы говорим иной раз: «особый мир Достоевского». А был ли этот мир «особым»? Может, все иначе — в предельных условиях, в которые Достоевский ставит постоянно своих героев, и логика, хоть и очень строгая, но ведь — особая.

От этой особой логики, очевидно, и колебания Исаевой, — а совместимы ли окажутся они с Достоевским в обыденных, «не предельных» условиях? Скажете, — это после двух лет отчаянного стремления друг к другу и железной настойчивости Федора Михайловича в достижении этого дня? «Отказаться мне от нее (Исаевой) невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета (ему 36) не блажь, она продолжается 2 года, слышите, 2 года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости», — это голос До-

стоевского. Что сказала бы Исаева? Возможно, что она чересчур родственна по силе духа с Достоевским и именно потому брака с ним опасалась. Скажете, парадокс? Но это тоже — на первый взгляд.

Ибо какое же духовное родство, и у кого могло оно быть с личностью столь необыкновенной, как Достоевский?

Не странно ли, но он был влюбчив. Не как мужчина, а как художник, влюбчив в яркие и сильные характеры. У него был бурный роман с Аполлиной Прокопьевной Сусловой, женщиной «инферальной», в представлении современных ей обывателей. И Суслова отказала Достоевскому. У него был роман с Анной Васильевной Корвин-Круковской (впоследствии Жаклар), одной из будущих героинь Парижской Коммуны, — и она отказала ему. Почему? Очевидно, именно потому, что быть родственной по духу с Достоевским значило как раз поступиться всем, что такое родство составляло, — силой духа, собственными интересами, увлечениями, одаренностью, — и «раствориться» в Достоевском. В сокрушительном его таланте. В ослепляющей его личности, которая под обманчивой простотой была похожа на коварную воронку, втягивающую в себя любого, кто с ней соприкасается.

Согласилась на брак мгновенно и без смятения двадцатилетняя Анна Григорьевна Сниткина, будущая вторая жена писателя, прожившая с ним 14 лет, до конца его жизни. Сорокачетырехлетний Достоевский называет ее «помощницей и утешительницей» и считает «человеком нужным и необходимым», а многие современники — без особого добра — «конторой по изданию сочинений Достоевского»; Анна Григорьевна, которая, как истое дитя благополучной среды, всегда точнехонько подвела баланс дебет-кредит и признавалась, что вышла замуж за Достоевского «по головной, idealной любви»; Анна Григорьевна, которая в своих воспоминаниях рассказывает — правдиво и мило рассказывает! — лишь наиболее гладкую часть правды о Достоевском-памятнике, легкомысленно балуясь с историей и замалчивая многие эпизоды из жизни Достоевского-человека.

И вовсе по-другому согласилась на брак с

Достоевским Исаева. Она отважилась. Ничуть не заблуждаясь в значимости сделанного шага, и — после скольких колебаний!

Вторая интермедия, ведущая в сегодня. В феврале, дня шестого 1857 года поставлены, наконец, под «Обыском брачным № 17» подписи поручителей, которые не подозревают, что в этот миг переступили черту, отделяющую небытие, уготованное каждому, от истории, в которую отнюдь не всякий получает доступ. Они, жители Кузнецка, горстка друзей Исаевой, — этот доступ получили, оказавшись волею случая на одной жизненной странице с Исаевой и Достоевским. И не подозревают они, что это единственное вещественное свидетельство причастности Кузнецка к жизни великого писателя окажется отторгнутым от Кузнецка, поскольку безмятежно передана Семипалатинскому дому-музею выписка-копия названного акта так, словно «грозное чувство» и вовсе к Кузнецку касательства не имело. Этот единственный экземпляр выписки из брачного акта, увенчавшего почти трехлетний период смятений Достоевского, не представлен в Новокузнецке даже скромной фотокопией, хотя значимость этого документа для творческой биографии Достоевского вообще и для истории Кузнецка в частности ничуть не меньше, чем у погибшей лиственницы, фотография которой, к счастью, сохранилась в музее.

Есть и еще одна косвенная утрата, которую открыла перед нами неожиданная булгаковская статья: «Посещал Достоевский венчавшего его священника, о. Евгения Тюменцева, которому после прислал в подарок свою автобиографию». С Тюменцевым Булгаков тоже виделся. В 1904 году еще был жив этот самый непосредственный участник «кузнецкого праздника». У него хранилась автобиография Достоевского, подаренная ему «после». Может быть, после смерти Исаевой? И тогда подобная автобиография — есть исповедь, которой Достоевский считал себя обязанным человеку, так тесно связанному с памятью Исаевой. Разве такая автобиография, подаренная «после», — не та же повинная перед уже не существующей, возможно, женщиной, жизнь которой Достоевский отнюдь не скрасил?

Если к 1904 году живы были очевидцы кузнецких дней Достоевского, значит, еще недавно в Кузнецке и окрестностях должны были здравствовать (а может, живы и поныне?) их потомки. И кто знает, не хранится ли где-нибудь среди старых газет и бумаг драгоценный подарок Достоевского. Сколько новых узлов раскрыла бы такая автобиография — ведь до сих пор никаких упоминаний о ней не было.

Место в памяти. Почему — и правомерно ли — мы уделяем столько внимания роли Исаевой не только в жизни, но и во всем творчестве Достоевского, а соответственно отстаиваем «место в памяти» для Кузнецка, прибежища «грозного чувства», где завязался — один из важнейших в биографии Достоевского! — кузнецкий узел?

Исаева не была «тихим ангелом», подобно Анне Григорьевне. Зато Исаева была человеком из истинно родного для Достоевского мира, что «за чертой»: нимало не думая о правах женщины, гарантированных эмансипацией, она осмелилась — не в Петербурге, не в Москве, не в Париже! — распорядиться своей жизнью по собственному усмотрению, находясь в фокусе провинциального внимания, которое сильнее самой мощной увеличительной линзы. Отношения с Исаевой и требовали как раз необходимого для Достоевского «предела». Исаева была созвучна Достоевскому по силе духа и потому не могла раствориться в нем. Не стала она и коллегой, подобно Анне Григорьевне, и беспощадный талант Достоевского отринул ее, а современники «грозного чувства», равно как и отдаленные потомки, допустили непростительную слепоту: незамеченной осталась «исподвольная» причастность Исаевой к будущему творчеству Достоевского. А между тем это с ней Достоевский познал тот рубеж, за которым человек отбрасывает шелуху рисовки — не до того ему! — и обнажает в предельных, необычных условиях все подспудное, ими мобилизованное. Это с ней Достоевский узнал бесценную горечь обнажения человеческой души, — может быть, отсюда во всем его творчестве невыносимо не защищенные, словно «подсмотренные» глубины.

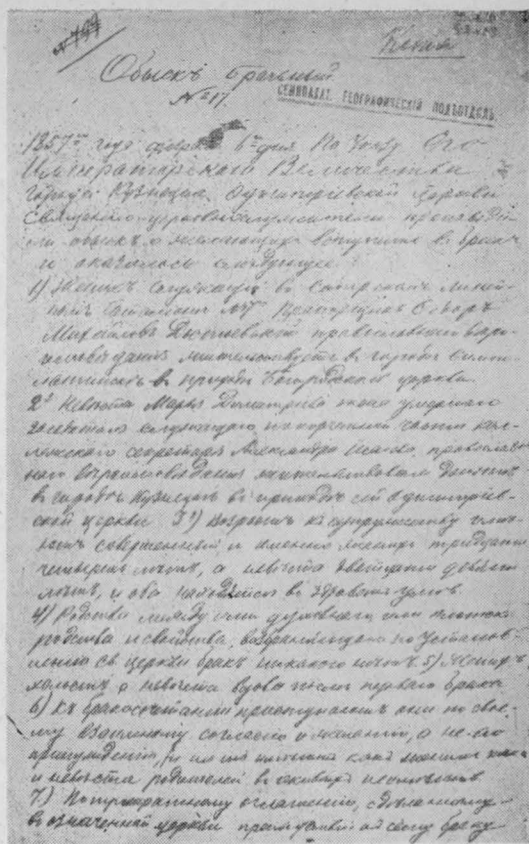
Исаева встретила Достоевского не в дни ве-

личия, и не оно влекло ее к нему. Врангель, верный летописец этого романа, сообщает, что «она в Федоре Михайловиче приняла горячее участие, приласкала его, но не думаю, чтобы глубоко оценила; скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он «без будущего», говорила она. Федор Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости».

Будучи натурой незаурядной, не вписывающейся ни в свое время, ни в свои обстоятельства, и ничуть не уступая в «колоритности» таким фигурам, как Суслова и Корвин-Круковская, Исаева была, возможно, значительнее их. Незаурядность избранный Достоевского была во многом возвращена, питаема и приумножена теми интеллектуальными сокровищами, которые были им доступны и из которых они черпали всю жизнь. Насколько труднее было Исаевой не только быть, но и оставаться незаурядной в ее обстоятельствах! Она не жила в больших и просвещенных городах, она не вращалась в среде лучших умов своего времени, она не посещала музеев, выставок и библиотек. Она довольствовалась скудным запасом впечатлений, которые могла почерпнуть в самой глубинной провинциальной среде, где самообразование — своеобразный подвиг. Очевидно, значительность ее характера и богатство духа были врожденными, и потому общение с ней так влекло окружающих.

Примечательно и другое. Многие современники Достоевского считали, что произведения, написанные в трудные времена, еще в бытность Исаевой, гораздо лучше отшлифованы, чем те, что были написаны в более благополучные годы. Конечно же, гигантский талант Достоевского не нуждался в благотворном «литературном влиянии». Но... ведь Достоевский-художник необыкновенно восприимчив. «Препарируя» любого партнера, он как бы отождествляется с ним, вращается в его оболочку, невольно и добровольно вбирает в себя его отпечаток навсегда.

Возвышенность духа Марии Дмитриевны и ее



«Обыск брачный № 17»

образованность («образованна как редко бывают образованна женщины!») отмечены самим Достоевским. Натура и манера мыслить Анны Григорьевны тоже весьма прозрачно проглядывают в ее воспоминаниях. А по ее утверждению, именно она была «первой читательницей» Достоевского и он прислушивался к ее советам!

Не отсюда ли двойственность образов Достоевского этой поры, несущих несовместимые и не сживающиеся «оттиски» двух столь разных личностей, влиявших на бытие писателя?

Прекрасен был кузнецкий праздник... Тому порукой воспоминания очевидцев, приведенные в названной статье Булгакова. Кузнечанка

Т. М. Темезова сообщает: «...благодаря участию Катанасовой, свадьба вышла весьма пышная. За народом едва можно было протолкаться вперед. Конечно, присутствовало в церкви и все лучшее кузнецкое общество. Дамы были все разнаряжены. В церкви — полное освещение. Сначала, как водится, приехал жених. Конечно, внимание всех на него обратилось. И я смотрела с любопытством: хоть мне и было только лет 16, но я слышала, что он не простой человек, — писатель... Он, помню, был уже немолодой человек, лет тридцати восьми, довольно высокий, выше, пожалуй, среднего роста... Лицо имел серьезное. Одет он был в военную форму, хорошо, и вообще был мужчина видный. Жениха сопровождали два шафера: учитель Вергунов и чиновник таможенного ведомства Сапожников. Скоро прибыла и невеста, также с двумя шаферами. Одним из них был сам исправник Иван Миронович Катанасов. Худенькая, высокая и стройная, Мария Дмитриевна одета была очень нарядно и красиво, хотя и вдовушка. Венчал о. Евгений Тюменцев... Были и певчие...»

Почти то же сообщает о свадьбе и другой очевидец, Д. Н. Окоороков, который в 1904 году жил в селе Бачаты, за 100 верст от Кузнецка. Булгаков заезжал к нему на обратном пути в Томск. Окоороков был наблюдательнее шестнадцатилетней девушки, увлеченной только парадностью свадебной церемонии. «Он был лично знаком с Фед. Мих. и часто встречался с ним на вечерах, которые устраивались еще до свадьбы у Катанасовых, — читаем мы в статье Булгакова, — Достоевский присутствовал на них вместе с невестой. По словам Окоорокова, он всегда бывал в очень веселом расположении духа, шутил, смеялся. Это сообщение должно для нас быть особенно интересным. Как известно, вообще Фед. Мих. отличался характером необщительным, даже мрачным. Очевидно, здесь, в Кузнецке, под влиянием близости любимого существа, вдали от служебных обязанностей, от мест неприятных тяжелыми воспоминаниями, Фед. Мих. чувствовал себя, если не вполне счастливым, то удовлетворенным. Этим и можно объяснить его хорошее расположение духа, о котором говорит и на котором... прямо настаивает Окоороков».

Это ли не прямое указание, что был, был-таки «кузнецкий праздник», и значение его хорошо понимал и сам Окоороков, и, повторяю, патриот своего города Булгаков, который явно стремился привлечь внимание общественности именно к кузнецкому дому.

Из этого дома выходит на охоту Федор Михайлович в болотных сапогах-броднях и в широкополой кожаной шляпе, совсем как охотник на картине Перова.

Рядом с этим домом жил оригинал-сапожник, который своим стуком мешал работать Достоевскому, но не поддавался ни на какие уговоры и компенсации — «сучал без работы».

Однако все это — не самое главное.

Читатель, маленький дом в Старокузнецке — свидетель «кузнецкого праздника» Достоевского!

Кузнецкий узел. Но почему так неожиданно и быстро дописана глава «Исаева». В Твери, только что вернувшись из Сибири, Достоевский сетует: «Живу точно на станции. Даром теряю время... Взял на себя заботы семейные и тяну их». И ничего более. Это — Врангелю. Поверенному «грозного чувства» кузнецкой поры. Недолго же после кузнецкого венчания сохранил Достоевский-человек свое «грозное чувство»! Но Достоевский-сочинитель сохранил память об Исаевой навсегда, и следы ее нетрудно заметить во всем его творчестве. Более того — ярче и дольше помнил он все, что связано было с «предельной» коллизией этого романа, — мордасовские нравы и драмы «Села Степанчикова» тому порукой.

Не забыл Достоевский и «вергуновский пассаж». Если Александр Иванович Исаев, сам того не ведая, определил первый виток «кузнецкого узла», то последующие витки добавил к нему Николай Борисович Вергунов.

По самым «горячим следам» написан «Дядюшкин сон». Силой своего беспощадного таланта Достоевский не только «расправляется» с провинциальными обидчиками, но и с Вергуновым. Сперва — он «раздваивает» Вергунова. В романе это — и Вася, «учитель уездного училища, почти еще мальчик» (вспомним, Вергунов моложе Исаевой на пять лет!), который любит Зину, но чисто по-мордасовски

свершает неблагоприятный поступок, огласив ее письмо к нему. Он — и Мозгляков, неудачливый Зинин жених. «Манеры его были бы недурны, но он часто приходит в восторг и кроме того с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, недурен собой» (но разве Вергунов, по оценке Достоевского, не «самовлюбленный» провинциальный щеголь, нагловатый и «недурен собой»?).

Раздвоив Вергунова, Достоевский еще и «умерщвляет» его в лице Васи, перед смертью заставив его раскаяться (а разве в «Обыске брачном» мы не встречаем с удивлением подпись «раскаявшегося» Вергунова?).

Не говоря о хрестоматийном известном отращении «кузнецкого треугольника» в «Униженных и оскорбленных», — кто знает, не от вергуновского ли пассажа зигзаги судьбы Настасьи Филипповны, то назначавшей, то отменявшей свадьбу с купцом Рогожиным и с князем Мышкиным, — навсегда запомнилось Достоевскому тревожное и счастливое венчание в Кузнецке. И не имеет ли прямого отношения к установлению «братства» с Вергуновым сцена «братания» с обменом крестами между Мышкиным и Рогожиным (подпись Вергунова на обыске брачном — разве не тот же «крест братания?»). Помнил Достоевский и лихорадочную, грозную пору, когда мчался в Змеиногорск, мечтая о встрече с Марией Дмитриевной, и укладкой «сбергал» к ней в Кузнецк, чтобы улаживать «Вергуновскую коллизию», и не отблеск ли той поры в отчаянных бросках Дмитрия Карамазова, в безнадежной его любви к Грушеньке. И не колебания ли Марии Дмитриевны между состраданием и благодарностью к Вергунову, и невыносимость быть «в долгу» у любимого человека — Достоевского, не эти ли колебания нашли подспудное отражение в тяжком узле, каким связал Достоевский Катерину Ивановну с Митей и Иваном Карамазовыми.

Так, может, потомки оказались несправедливыми к Вергунову, лишь полуснисходительно вспоминая о нем? И был ли он в действительности столь малопримечательной и даже малосимпатичной фигурой, как это следует из отзывов Врангеля и самого Достоевского?

Горячность «расправы» с Вергуновым в

«Дядюшкином сне», а также то, что много лет спустя Достоевский все еще наделял самыми противоречивыми чертами героев, в которых легко найти прямой или отраженный прототип Вергунова, невольно привлекает внимание к загадочному кузнецкому учителю.

Говорят, мы чаще всего не любим тех, кому причинили зло. Не оказалось ли, что Достоевский-сочинитель вынужден использовать весь арсенал своего таланта, чтобы Достоевский-человек мог оправдать перед самим собой более чем пристрастное отношение к стоявшему на пути Вергунову. Ведь именно в этой коллизии, — во второй раз за сибирский период, прошедший под знаком Исаевой, — Достоевский вынужден войти в тяжелое противоречие с самим собой и переступить через надежды «малого человека».

Ведь этот загадочный учитель совершенно «по-достоевски» делает ряд странных поступков, от которых первоначально построенная достоевская схема — «провинциальный соперник, которого нетрудно подавить» — постоянно дает брешь.

Вергунов беден, моложе Исаевой на 5 лет, знает о ее болезни, в маленьком Кузнецке, где свежи в памяти «последние времена» опустившегося Александра Ивановича, готов взять ее в жены с пасынком, которого сумел привязать к себе душевностью и постоянным вниманием. Вот уж истинно братство «униженных и оскорбленных», даже при том, что была Мария Дмитриевна достаточно привлекательна, чтобы заставить скромного учителя забыть все «но», сопутствующие такому браку!

Узнав о сопернике Достоевском, Вергунов «предлагает дружбу и братство», что расценивается Достоевским как отступление — необходимость ступившись перед сильным соперником. Однако предложение было сделано не сразу и, очевидно, не так легко было подавить Вергунова. В поединке с Достоевским вдруг оказалось, что перевес на стороне слабого юноши. Вспомним, Достоевский не только Врангелю пишет, что не отступится от Марии Дмитриевны, потому что «ведь я права на нее имею, права...» Он искренно верит в свое превосходство над Вергуновым именно из-за этих прав и соответственно держит себя с кузнец-

кими партнерами. Достоевский до последней минуты не уверен, а вдруг Вергунов, который ни о каких правах не помышляет, единственно силой своей любви, чуть не из-под венца отберет у него Марию Дмитриевну. Чем же был Вергунов так опасен для Достоевского, если казался человеком нестойким в своих решениях, слабовольным, легко подаваемым? Вспомним, Достоевский сообщает Врангелю, что на «общее» письмо, отосланное кузнецанам, Вергунов посылает «ответ ругательный». Как же должен быть уверен Достоевский в своей силе и в ничтожности Вергунова, чтобы адресовать в Кузнецк такое назидательное письмо, и каким «бунтом» оказался для него полный достоинства ответ Вергунова: «Да, я беден, но я от всей души люблю ее, и она любит меня. Вы спрашиваете, на какую жизнь я ее обрекаю. Но те самые двадцать четыре года, которые вы используете как главный довод против меня, можно обратить и в мою пользу — ведь если мне двадцать четыре года, то у меня еще все впереди!.. Да и не по той ли причине убеждаете вы меня «отказаться» и «не портить» ей жизнь, что хотите получше устроить свою собственную жизнь?» Некоторый вызов, содержащийся в письме Вергунова, кажется не «ругательным», а оправданным, если вспомнить, что это ответ на такие слова Достоевского: «Неужели вы не понимаете, что участь жены учителя в уездной школе, пусть даже получающего 900 рублей ассигнациями, и вечный Кузнецк, это не для нее, что ей, образованной, сильной — уготован иной удел!.. Чем можете вы ее поддержать, если сами и шага не сделали без поддержки!».

Все более затягивая «кузнецкий узел», юноша, у которого «конечно сердце... доброе, и плачет он искренне, но, кажется, только и умеет плакать» и притом «еще собирается устраивать свою и ее жизнь», — вдруг не только устраняется с пути Достоевского, но еще и делает вполне решительные, хотя и неожиданные шаги. Так, в «Обыске брачном № 17» мы, как уже было сказано, с удивлением находим в качестве «поручителя по жениху» опять-таки... подпись Вергунова. Не оказалось ли так, что честно сопоставив себя с таким соперником, как Достоевский, и чест-

но признав его неоспоримое превосходство, из-за чего и счел его более достойным руки Исаевой (поступок, тоже требующий немало мужества!), Вергунов самоустранился, ничуть не в результате неоступного давления Достоевского, а в силу собственной убежденности: прежде всего счастье Марии Дмитриевны. Тем не менее юноша, который как будто «и шага не сделал без поддержки», не просто «уступает» Марию Дмитриевну, но и трезво оценивает нелегкий нрав Федора Михайловича. Возможно, обладая провидением, свойственным большому чувству, Вергунов решает, что в браке с Достоевским Исаеву ожидают немалые рифы. Присутствие Вергунова на свадьбе тоже, очевидно, не просто хорошая мина при дурной игре, а еще один заслон против будущих осложнений в жизни Исаевой. Он не только не порывает, а укрепляет видимость добрых отношений с четой Достоевских — это дает возможность поддерживать и впредь связи с Марией Дмитриевной и в случае необходимости оказать ей естественную поддержку, как друг семьи.

И все это — напроць пренебрегая собственным щекотливым положением. Кузнецк — не столица. Очевидно, многие давно судачат, как обмануты надежды бедного учителя и кто у него соперник! Не потому ли в преддверии венчания с Исаевой Достоевский постоянно удивлен тем, что Вергунов не только не прячется от людей, хотя, «видно, что горе сломило его», но, напротив, постоянно бывает в тех домах, где бывают Достоевский с Исаевой. Тем самым, — ценой немало унижения, — Вергунов придает пристойный вид происшествию, а может, и рассказывает в домах, где знают всех участников драмы, наиболее удобную для Марии Дмитриевны версию. Кто скажет сейчас, не звучали ли во время таких визитов уверения, что он, Вергунов, счастлив, видя, как достойнейшая женщина, после многих страданий, нашла наконец вполне достойного друга жизни!..

Сугубо предположительно. Есть и еще виток в «кузнецком узле». В своих довольно развязных воспоминаниях об отце Любовь Федоровна Достоевская, дочь писателя от второго брака, рассказывает, будто знает «со

слов», что Вергунов последовал за Исаевой, когда Достоевские покинули Сибирь, и что близость его с Марией Дмитриевной продолжалась чуть не до ее кончины, в чем она и призналась Достоевскому перед смертью. И долго считалось, что этот рассказ — плод недоброжелательности, которую дочь унаследовала от матери, отчаянно ревновавшей Достоевского к памяти Исаевой.

Однако в 30-х годах в Новокузнецкий краеведческий музей поступает письмо учителя Порфирия Гавриловича Зенкова. Тесно связанный со старожилами Кузнецка, Зенков слышал много интересных подробностей о кузнецких днях Достоевского от Николая Алексеевича Попова, который проживал в Кузнецке с 1887 года. Попов был дружен с Дмитриевым-Соловьевым, хозяином домика, где два года жила Исаева, и Дмитриев оказался невольным свидетелем сложной коллизии Достоевский — Исаева — Вергунов. Судя по подписи Дмитриева на «Обыске брачном № 17», как поручителя по невесте, был он не вовсе посторонним человеком для Марии Дмитриевны. С его слов и стало известно Попову, а от него Зенкову, что Вергунов последовал за Марией Дмитриевной в Тверь и далее «и даже брал у нее деньги!». Значит, такой эпизод вовсе не придуман Л. Ф. Достоевской?

И тогда, отойдя от «штампа восприятия», хотелось бы представить, что заставило Вергунова покинуть Кузнецк? Не оказалось ли, что предположения отвергнутого претендента оправдалось вполне. Марии Дмитриевне действительно потребовались и помощь и поддержка, и даже очень недолго. И вот уж едет Вергунов в Тверь, но, может, не вовсе гонимый лишь романтическим порывом! Вспомним, Вергунов уроженец Томска, недавно похоронил мать. После отъезда Исаевой из Кузнецка, где он сам — пришлый человек, Вергунов должен чувствовать себя уж вовсе одинок. Может, еще до предположительного зова Марии Дмитриевны помышлял он о переезде поближе к «просвещенным столицам»? И тогда вполне естественно мог выбрать для переезда именно Тверь, где у него «родная душа» Исаева, — разве не породнились они «братством людей»? И, может, даже на поддержку

Достоевского мог он рассчитывать — разве не были предложены «дружба и братство». Но Вергунов — не более чем уездный учитель. Покидая Кузнецк и не имея никаких сбережений, он лишается всяких средств к жизни. На новое место устроиться не сразу, и тогда — почему не мог Вергунов обратиться за помощью к Марии Дмитриевне, и более того, почему не могла она, даже без всякой просьбы, поддерживать его, хотя и сама была достаточно стеснена (ведь не раз оказывал он ей такую помощь в кузнецкие дни?). И очень возможно, что Достоевский-сочинитель, все творчество которого — стремление к «братству людей», не смог побороть Достоевского-человека, и действительно очень был недоволен непрерывной кузнецкой ниточкой... Ведь и в этом случае та же «предельная» ситуация, что заставила некогда Достоевского хлопотать об устройстве Вергунова. Надо спасти человека, и приличия, невеликие отвергнутому претенденту принимать помощь от Исаевой, а тем более рассчитывать на «связи» ее мужа, теряют всякую значимость.

По этой же логике вполне вероятно и предсмертное признание. Исаева была поразительно правдива, к тому же честна и добра, ведь Достоевский, которого она в свое время «пожалела как несчастного забитого судьбой человека», недаром же называл ее «великодушной женщиной»! Разве не могла она обратиться к Достоевскому с предсмертной просьбой не оставить без помощи Вергунова — неужели бывший ссыльный солдат уже забыл горечь нищеты и одиночества?

Все, что здесь сказано, не являет собою открытия, не освещает каких-либо неожиданных материалов или положений, не известных литературоведам. Это лишь попытка, с помощью известного, дополнив маленькими штрихами из воспоминаний новокузнецчан, представить себе, что означал в жизни Достоевского «кузнецкий узел», связавший судьбы четырех людей, из коих один был защитником многожды описанных им «униженных и оскорбленных» и в руках своих держал судьбы остальных трех, вполне реальных «малых людей». Загадочная фигура Вергунова, о поведении которого откровенно писал Достоевский —

Врангелю, Достоевский — Исаевой, Исаева — Достоевскому, казалось бы, достаточно освещена. Но ведь поступки любого человека — не просто сумма шагов. Важно найти стержень, который определял бы и объединял его поступки. Хотелось бы, отринув «штамп восприятия», проследить, насколько сильный отпечаток оставил кузнецкий учитель в жизни великого сочинителя, а отсюда — насколько интенсивны были переживания Достоевского, связанные с Кузнецком.

Если под крышей убогого домика в Старокузнецке вершились столь грозные события, мог ли покинуть его Достоевский, не забыв навсегда, — и даже полюбить! — ибо сочинитель не мог не ценить и горькие минуты, пережитые здесь. И тогда вправе ли мы ценить этот домик меньше?

Третья интермедия, ведущая в сегодня. Весной 1977 года в Новокузнецке был паводок. Мне сообщили, что домик Достоевского был залит водой выше крыши, в нем погибли ценные издания и документы и что вывод напрашивается лишь один — «всем миром построить новый дом Достоевского, раз уж, как говорится, вмешались стихии». Кого бы такое известие не взволновало? Вспоминаю, что 20 мая 1965 года в «Литературной газете» было опубликовано письмо за подписью видных литераторов страны, напоминающее о необходимости сохранить единственные два памятных места сибирской ссылки Достоевского — семипалатинский и кузнецкий дома, — и что среди подписей была фамилия Галины Владимировны Коган, директора Музея-квартиры Достоевского в Москве. Обращаясь в этот музей и встречаю полную готовность оказать всемерную помощь затопленному домику. От самой Г. В. Коган узнаю, что интерес именно к старокузнецкому домику — как к обители «грозного» чувства» великого писателя — растет повсеместно и с каждым днем. Поэтому московский музей готов взять на себя постановку экспозиции в этом доме, широко снабдить ее фотодокументами, ценными изданиями и другими материалами, осуществлять научное руководство и обеспечить тематические консультации, словом, ввести такое шефство в свои рабочие планы, стоит лишь обществен-

ности Кузбасса обратиться в московский музей с соответствующей просьбой.

Перед разговором в Новокузнецком горисполкоме я побывала в домике Достоевского — хотелось уточнить, какие именно ценные документы и издания там погибли, так как до того я никогда не слыхала об их существовании. За высоким забором, которым теперь был обнесен этот дом, я ожидала увидеть почти руины. Но оказалось, что буйно зеленеет тополь, который помнит, наверное, встречи Достоевского с Исаевой, а за стеклами дома, за которыми мне мерещились лица участников кузнецкой драмы, видны были не только аккуратно связанные стопки книг (библиотека закрыта), но и зеркально блестящие полы, никак не свидетельствовавшие о бедствии. Да и весь домик, похоже, стоял крепко. В соседних домах спокойно жили те, кто должен был пострадать от паводка, ничуть не меньше, чем названный дом. Кому же понадобилась ссылка на коварство стихий?

Известный казахский ученый академик А. Х. Маргулан пишет: «Семипалатинску повезло, что его история связана с именами выдающихся личностей. Такие гении, как Достоевский и Валиханов, в столетие рождаются один раз».

Но ведь Кузнецку едва ли повезло меньше, чем Семипалатинску, — ведь не каждому городу выпадает на долю счастье гения.

Скажите: в Кузнецке Достоевский бывал так недолго! Но разве количеством времени, а не интенсивностью измеряются события в жизни человека? В течение почти двухлетнего пребывания Исаевой в Кузнецке настроение и вдохновенность Достоевского зависели от вестей, поступающих от нее, — разве не жил он в ту пору душой и мыслью в этом городе? Разве не от Кузнецка шли в те поры счастье и горе писателя?

Счастье? Разве же был Достоевский счастлив с Исаевой? Читатель, это не сомнения автора. Это упорное заблуждение, которое еще так недавно бытовало в Кузбассе. Именно его доводилось услышать, когда речь шла о печальной судьбе старокузнецкого домика Достоевского. Как будто мы вправе дать точную оценку чьему-либо счастью, тем более принад-

лежавшему такому непостижимому Достоевскому.

Так не скрывалось ли за рассуждениями о счастье Достоевского равнодушие и нежелание взять на себя хлопоты, связанные с восстановлением не просто места, а должного места, принадлежащего по праву ценнейшему памятнику мировой культуры, находящемуся в нашем крае?

Читатель, конечно, догадался, что настоящая статья, нарочито отстаивающая, казалось бы, вполне очевидную значимость Исаевой в жизни Достоевского, является некоторым образом ответом на непонимание весомости «грозного чувства» великого писателя. От такого непонимания не нависла бы угроза над кузнецким домиком. Сгорел же ненароком, полая подозрительно жарким пламенем в дождливую осеннюю ночь, не менее важный памятник Кузнецка — старый Народный Дом. И тем более так недавно спилена чуть не полтора века прожившая «лиственница Достоевского», лишь потому что ветви ее мешали стреле башенного крана...

Скажите: неоправданная тревога? Ведь принято решение Министерства культуры РСФСР об открытии музея имени Ф. М. Достоевского в Кузнецке в 1981 году к 100-летию со дня кончины писателя. Но решение — не свершение. Разве не было принято решение об открытии отдела социалистического периода Новокузнецкого краеведческого музея в погибшем теперь Народном Доме?

Преувеличена ли тревога и не правомочно ли настойчивое желание автора еще и еще раз привлечь внимание читателя к значимости кузнецкого домика, коль намеченный в нем музей по сей день не имеет не то что научного совета, но даже конкретного названия (название — значит, направление!), а к общему удовлетворению числится в планах просто литературно-мемориальным музеем (как будто музей, посвященный памяти писателя, может быть не литературным или не мемориальным!)?..

Разве можно представить себе в кузнецком домике стандартную экспозицию с «псевдона-

туральным» столом Достоевского, коли в этом доме он никогда ничего не писал? В этом доме лишь зарождались будущие творения, зачатые в смятениях и восторге. Ибо здесь писатель познал горечь сомнений. И здесь же был счастлив. И разве не была в ту пору хозяйкой и горя и счастья Достоевского незаурядная женщина Мария Дмитриевна Исаева, жившая в этом доме? Разве не ее портрет во весь рост должен бы встречать у входа посетителей будущего музея? Разве нельзя представить этот своеобразный музей как обитель тех персонажей из тех произведений писателя, в которых нарочито отразился «кузнецкий праздник» со всеми упомянутыми коллизиями? Разве стандартные витрины с фотокопиями-свидетельствами «петрашевства» Достоевского, которые можно встретить в любом школьном музее любого города, а не они, эти персонажи, детища «грозного чувства», должны населять маленький дом, который влек к себе в течение ста лет краеведов, исследователей, писателей и художников?

Не могу представить этот музей без своего, особого лица, без «февральских чтений» Достоевского. Без театрализованных вечеров, концертов, просмотров кино постановок по романам писателя, ежегодно в феврале, который мог бы стать юбилейным «месяцем Кузнецка». Я думаю, что в создании этого музея, не тревожась о ведомственных границах, должны участвовать все, кто сколько-нибудь причастны к культуре Кузбасса. Я думаю, что, не опасаясь нарушить административную иерархию, каждый житель Кузбасса, которого заботит культура родного края, вправе спросить у Новокузнецкого музея, у общества по охране памятников, у управления культуры облисполкома: достаточно ли рачительно используется памятник республиканского значения — кузнецкий дом Достоевского. Тогда, кто знает, сколько новых страниц будет вписано в обширную литературу, посвященную творчеству писателя. Ф. М. и М. Д. Достоевские ждут своего дома. Хочется верить, что это будет дом, достойный «грозного чувства».

НОВОКУЗНЕЦК — КЕМЕРОВО

Евсей Цейтлин

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ САТИРИКОМ..?

О творчестве Владимира Матвеева

О многом ли скажет очередная констатация «бега времени»? Вот уже четверть века поэт Владимир Матвеев выступает в печати с сатирическими и юмористическими произведениями... Легко представить, что вобрали в себя эти, как всегда незаметно и стремительно, промелькнувшие годы: радость первых публикаций, поиски новых тем, но главное — поиски «своего лица», неизбежные сомнения: «то ли ты делаешь?», грустное ощущение, что твою работу почти не замечает критика.

Новое имя в литературе всегда событие, во «вредном» сатирическом цехе — тем более. Может быть, поэтому автор предисловия к первой книге Владимира Матвеева «Иронические строки» Ц. Голодный попробовал предугадать реакцию читателей:

«Вы скажете: «Точно подмечено!»

Обыватель выедет кривую усмешку: «За деньги любой сможет!»

...Подхалим испуганно прошелестит: «На кого замаскируется?!»

...Бюрократ поведет тяжелой бровью: «М-да... а кто он, собственно, этот... писатель... Что у него за биография?»

Вопрос о биографии, наверное, интересовал многих; в самом деле: как становятся сатириками?

Но, увы, анкета на этот вопрос не ответит. Год рождения — 1932-й, место рождения — село Лещихино Калининской области, откуда в начале Великой Отечественной войны семья Матвеевых эвакуировалась в Прокопьевск...

Нет, в анкете все обычно: десятилетка, которая тогда называлась мужской средней школой № 1; филологический факультет Новокузнецкого пединститута; снова школа — на этот раз он был учителем. Потом — уже на всю жизнь — увлекательная, изматывающая

работа журналиста... Разумеется, творчество сатирика, как и творчество любого другого литератора, во многом определяется биографией, личной судьбой. Но мы еще убедимся: эта зависимость в данном случае не прямой; конечно, «смешное слово», сказанное в детском возрасте, еще не признак таланта» (Ц. Голодный).

Мне кажется, мы поймем то, как становятся сатириками, если сформулируем вопрос несколько иначе: легко ли быть сатириком?

Вроде бы все ясно. Когда заходит речь о сатире, мы хорошо представляем себе трудности этого жанра. Главная трудность: сатириков очень не любят те, кого они высмеивают, — хулиганы, жулики, туземцы, разгильдяи... Потому (это тоже всем известно) сатирики и юмористы — едва ли не самые хмурые люди на свете.

Что касается хмурости, то пусть эти факты (действительно, приведенные во многих воспоминаниях) изучают психологи... Но, право, не просто представить то, как «объекты» сатиры преследуют бедного автора: вряд ли, например, бездельники и приспособленцы, не названные поименно в эстрадном фельетоне, считают себя таковыми; чаще всего люди, даже смеясь над собой, думают, что смеются над другими.

Тем не менее веселые жанры в самом деле очень сложны. Трудность уже в особом внимании читателя (сатире и юмору все возрасты покорны, и все считают себя здесь специалистами). Не так просто найти особые, сатирические, формы типизации действительности. И, бесспорно, редок талант сатирика. У него должна быть особая «организация души». Нужно свято верить в очистительную силу смеха, трепетно любить добро для то-



Владимир Матвеев

го, чтобы всю жизнь бороться со злом и, не уставая, писать нередко об одном и том же...

Я думал об этом, возвращаясь к дебюту Владимира Матвеева, листая газетные подшивки начала пятидесятых годов: конечно, все это было и в его биографии.

Биография литератора... Впервые одна из басен В. Матвеева — «Куриная слепота» — была напечатана в газете «Кузнецкий рабочий» в 1953 году; его первая журнальная публикация — в восьмом номере альманаха «Огни Кузбасса» за 1955 год. Поэзия творческого движения открывается и в суховатом перечислении сборников юмора и сатиры, выпущенных Владимиром Матвеевым: 1962 год — «Иронические строки», 1964 — «Букет шипов», 1969 — «Житье-бытье», 1973 — «Копыто Пегаса», 1979 — «Улыбка с нагрузкой».

Биография сатирика — это и ответ на вечный вопрос, встающий перед всеми, кто приходит в искусство: какие традиции продолжать? у кого учиться?

При внимательном чтении стихов Владимира Матвеева понимаешь, как он ответил в свое время на эти вопросы. Не сомневаешься: молодому поэту прежде всего оказались близкими традиции русской сатирической поэзии. С ее напряженным гражданским пафосом. С ее демократическим обращением к самому широкому читателю. С ее демократизмом языка.

Это и определило доверительную интонацию лучших стихов Владимира Матвеева, принципиальную простоту, сознательную безыскусственность и раскованность их поэтического строя.

Это определило и тот жанр, в котором дебютировал сатирик.

Басня? Как не вспомнить сейчас: у нее трудная и своеобразная судьба; на одних этапах развития литературы она выходит вперед, пользуется популярностью, на других словно бы исчезает до поры до времени. Как не задуматься при этом и о закономерности творческого выбора Владимира Матвеева, как не почувствовать здесь социальный темперамент автора.

Да, именно баснями были исписаны его первые стихотворные тетради. Басни читал Владимир Матвеев с эстрады на студенческих конкурсах. Баснями он обратил на себя внимание читателей. Последнее, правда, произошло не сразу. Поэт Игорь Киселев в 1963 году на страницах «Огней Кузбасса» писал: «...Лет шесть или семь назад в редакцию областной молодежной газеты пришли первые басни Владимира Матвеева. Были они довольно неуклюжи по форме, подражательны, многословны, с лобовой назидательной моралью». Годы помогают проявиться литературному дарованию, когда оно есть; годы были наполнены для В. Матвеева работой. И тот же И. Киселев писал, рецензируя сборник «Иронические строки»: «Если сравнить стихи этой книжки с теми баснями, которые когда-то приносила в редакцию почта, становится ясным, как вырос поэт за эти годы...»

Поиски Владимира Матвеева очевидны, если проследить его путь даже «внутри» одного только басенного жанра.

Конечно, начинающему автору никуда не уйти от общепринятых образов; да и незачем уходить: общепринятое нередко помогает сказать свое. У В. Матвеева немало басен построено обычно для читательского восприятия: в стихотворном рассказе действуют звери, и ситуация, которая в ее «человеческом» варианте порой не вызывает эмоций (настолько она примелькалась!), здесь кажется смешной, заставляет задуматься. Такова басня «Лисья уловка», «героиня» которой уличена другими зверями в грубом подхалимстве. Лиса дает слово «изжить позорный пережиток» и, что называется, «прямо в глаза» говорит всю «правду» льву. В этой басне интересно «нагнетание» пафоса, стремительное усиление его — кажется, «возмущению» лисы нет предела:

— Терпели долго...
Дудки! Баста!
В молчании
велик ли прок?
Я честно вскрою
главный твой порок —
неправильно
ведешь себя, гривастый!

Смешным, как всегда в сатирическом произведении, оказывается несоответствие формы

содержанию. В конце своей гневной тирады Лиса «смело» бросает Лыву:

Один —
Не стыдно ли! —
весь груз забот везешь,
а Еж с Медведем
бьют бакуши.

Но примечательно: постепенно В. Матвеев отходит от традиции населять басни зверями. Он не раз выступит в защиту четвероногих существ, которым люди приписывают «свои «родные» недостатки» (стихотворение «На-праслина»). Разумеется, В. Матвеев менее всего жалеет зверей из басен. Просто он чувствует: персонажи басен все чаще становятся статичными фигурами, теряют, если можно так выразиться, свой «характер». Констатируя эту однозначность во многих баснях (в том числе, наверное, и в своих), В. Матвеев так изображает реакцию воображаемого читателя, которому немного наскучили похожие друг на друга истории про зверей. Читатель этот с едва скрытой иронией обращается к баснописцу:

Гордись,
Я в твой талант поверил,
ты сможешь многого добиться...
О боже,
как порочны звери!
Как непорядочны
все птицы!

Звери в некоторых баснях В. Матвеева остались, но иноказания баснописца стали сложнее, ассоциативно богаче. Порой, добиваясь сатирического попадания в цель, В. Матвеев сталкивает прошлое и будущее, показывает эволюцию традиционных басенных героев, продиктованную и определенную временем. По своей структуре басня «Благоразумная Моська» — это диалог, в процессе которого и происходит «столкновение» времен:

— Слон показался.
Случая такого
ты упустить, задира, не должна.
— Я Моська не времен Крылова,
боюсь открыто
лаять на Слона.

Глупая и безрассудно «смелая» Моська явно поумнела за минувшие десятилетия. Но этот факт совсем не радует сатирика. «Мудрость времени» в данном случае печальна; вся басня пронизана скрытым сарказмом...

Сила тех или иных неприглядных обстоятельств меняет сюжеты известных басен... Это коллизия целого ряда произведений Владимира Матвеева. Он, как и некоторые другие сатирики, пишет новый вариант известной басни «Ворона и лисица». На знаменитые

увещевания лисы «Ах, что за шейка! что за глазки!» ворона здесь произносит решительно: «Плутовка, брось рассказывать мне сказки!». Она сама отдает памятный нам «кусочек сыра», потому что... «торгует браком местный магазин»!

Сатирическая ситуация достигается у Владимира Матвеева с помощью перемещения героев не только во времени, но и в пространстве. Вот мечтательно вздыхает персонаж короткой басни «Чинуша о космосе»:

— Эх, жаль, туда
дорога далека —
на всех людей
взглянул бы
свысока!

Эта миниатюра характерна для В. Матвеева и еще в одном отношении. Его басни с годами становятся все короче: автор предельно сокращает расстояние между изложением случившегося и кратким, афористичным его осмыслением. Все большую содержательную нагрузку выполняют теперь у сатирика заголовки; название (вроде того же «Чинуши о космосе») очерчивает место и время действия, социально-психологическую характеристику героя. Автор, бесспорно, использует то, что, к примеру, сама по себе фигура бюрократа известна читателю по другим произведениям; и он сужает басню до пределов короткого диалога или монолога, в которых сразу, без лишних подходов, выявляется главное — тот или иной «неожиданный поворот».

В своей статье «Смех в атаке», написанной в это время («Огни Кузбасса», 1971, № 1), В. Матвеев замечал об одном из кузбасских сатириков, что тот «не «вязнет» в фактах, не увлекается каламбурными изысками, на которые так падки новички». Очевидна тяга самого Владимира Матвеева к лаконизму, к предельно точному поэтическому письму.

Ясность и краткость не противоречат многозначности. По-настоящему многомерна миниатюра «Пуговида», где раскрывается пессимистичная «пуговичная» философия:

Свои сомненья
с Запонкой делаю,
вздыхала горестно:
— Что наша жизнь? —
Петля!

Точно почувствовав особенности новой поэтической манеры В. Матвеева, редактор нескольких его книг Т. Махалова верно писала в одной из газет: «Принципиальность этой творческой позиции особенно видна в сборнике «Житье-бытие», где даже один из циклов так и назван «Без моральных досков». Автор доверяет читателю, не «разжевывает» и не поучает, а строит так миниатюру, что не

высказанный прямо морально-этический вывод напрашивается сам собой. Вот почему все чаще в лучших сатирических стихах Матвеева читатель слышит «забавные диалоги», «исповеди нечестивых», «голоса вещей», замечает «кочку зрения» «богатых натур», «проницательных кресел», «откровенных будильников».

...Читая книги Владимира Матвеева, видишь движение нашей сатиры — видишь движение жизни. Было принято высмеивать заворовавшихся продавцов, и он высмеивал, хоть и сам понимал банальность темы. Писала потом вся сатирическая наша гвардия о том, что в крупнопанельных домах плохая звукоизоляция, — у В. Матвеева появилось большое стихотворение «Дом телепатов»... Вместе с тем в произведениях В. Матвеева — присмотримся! — стали отчетливо выделяться любимые им, наиболее удачно используемые способы художественного обобщения.

...Почему во многих стихах Матвеева присутствует весьма «колоритный» герой, от имени которого ведется повествование? Нет, этот герой не равнозначен автору. Просто автор как бы надевает маску обывателя: так удобнее и легче живо воссоздать психологию мещанина. Эта традиция издавна была в литературе. Достаточно вспомнить обывателя в рассказах Зощенко: голос героя настолько сливался здесь с голосом автора, что иные критики обвиняли в мещанстве самого писателя. Тем же приемом пользовался и Саша Черный, когда талантливо «перевоплощался» в гимназистов, студентов, чиновников, артистов, зло и как бы «изнутри» обличая пошлость. Вглядываясь, спустя годы, в стихи Саши Черного, Корней Чуковский писал: «Он попал, так сказать, в самый нерв эпохи, и эпоха закричала о себе его голосом... Если читать его сатиры одну за другой, покажется, что перед тобою дневник растленного интеллигента...» Однако, продолжает Чуковский, «мы понимаем, что эти «я» и «меня» принадлежат не поэту, но созданному им персонажу».

Учился ли В. Матвеев у Саши Черного? Мне кажется, да. В целом ряде произведений поэта-сибиряка мы прочитаем «дневники» героев, которые не вызовут у нас ни симпатии, ни сочувствия. С присутней исповеди откровенностью герои раскроются «до дна» — неприглядного, гаденького. Иногда эта исповедь вызовет лишь усмешку — как, например, в стихотворении «Городской романс»: перед нами история любви, которой... не было, трагичная «буря в стакане воды».

Она меня любила,
и я ее любил,
она махру курила,
я вовсе не курил.
«Бросай ты это дело!» —
вспылила я, дым клая.

Она не захотела
и бросила... меня.

Часто исповедь героя «со знаком минус», точно лакмусовая бумажка, проясняет суть знакомых нам человеческих характеров. Спокойно и даже «простоудушно» рассказывает персонаж стихотворения «Случай с дружинником» о происшествии на отдыхе, в бору:

...С лихвой я дал бы сдачи хулигану,
да жаль — в ту пору не дежурил я.

Чудовищным, несмотря на комизм ситуации, кажется монолог записного оратора, «мемуариста», всегда стремящегося поделиться с молодежью пережитым и... не пережитым:

Война. Разруха.
Прет Деникин с тыла.
И я воюю
за рабочий класс.
...Что?! Мне тогда
четыре года было?!
Ведь надо же!
А помню, как сейчас.

Мне думается, в этом стихотворении ощутимо влияние и другого поэтического учителя В. Матвеева — Демьяна Бедного. Проблема литературных традиций достаточно сложна; вполне возможно, что многие особенности поэтики Демьяна Бедного были восприняты и осмыслены Матвеевым опосредованно — через творчество поэтов-современников (например, через стихи С. Михалкова). Но именно Демьяна Бедного вспоминаешь не раз, думая об открытой, я бы сказал, радостной публицистичности сатиры Матвеева, читая его стихотворные фельетоны (назову хотя бы «Сказ о болящей Фекле» в раннем сборнике «Иронические строки»). Вспоминаешь: одним из первых Д. Бедный начал разрабатывать в нашей сатире антирелигиозную тему, которая так увлекает сегодня Владимира Матвеева.

Тем и замечательно искусство сатирика, что вроде бы мимоходом, между прочим он фиксирует наше внимание на сложном социальном явлении, на важных общественных вопросах. Нужно только не отстать от времени. Не принять позавчерашнее за сегодняшнее... Стихотворение Матвеева «Любовь без взаимности» как бы вбирает многие дискуссии последних лет об охране окружающей среды:

Любовью странной
мы природу любим,
лесам и водам
вызовы бросаем,
сначала героически
все губим,
потом все героически
спасаем,

Поэт парадоксально заостряет противоречие: еще недавно наши публицисты делали акцент на необходимости «покорения» природы, борьбы с ней, теперь больше беспокоятся о том, как природу сберечь...

Да, призывы сатирика нередко обращены к тем, кто во многом формирует общественное сознание — к журналистам. Владимир Матвеев язвительно приглядывается к практике иных газетчиков и обнаруживает следование мертвому шаблону. Живое слово и штампы — что может быть более несоединимого? — задумывается сатирик. И эта мысль определяет пафос его стихов.

Автор почти документален в стихотворении «Газетная процентомания»; так и кажется: он цитирует один из обычных журналистских материалов:

...Дала процентов сто
сверх плана
вся смена Лямкина Романа.
...Побил рекорд
товарищ Зотов —
сто тридцать пять,
двенадцать сотых.

Резюме сатирика неустранимо:
Прочел — и знаю о ребятах
ноль целых
столько же десятых.

На редкость последовательно Владимир Матвеев пародирует выступления некоторых лекторов. Например, на антирелигиозную тему. «Коварную» тему... Герой стихотворения «Божья благодарность» — бойкий лектор, не утруждающий себя анализом философской сущности религии, все сводящий к логике «бытовой»: верить в бога не стоит, потому только что... многие служители культа — развратники, стяжатели. Сатирик язвительно смеется, описывая результат подобной пропаганды:

...Вот грешника
безгрешный поп сменил.
Отменно служит.
Прихожане рады.
Благославляет лектора сам бог:
«Спасибо, сын мой,
укрепляешь кадры,
святому делу
здорово помочь!»

Открывая противоречие между формой и содержанием явления, В. Матвеев в обычных сюжетах открывает фантастическое. Фельетон «Рекламные штучки» построен на гротеске; здесь под увеличительным стеклом сатирика жизнь человека, не читающего и не слушающего рекламные объявления, а потому делающего «все наоборот»:

Неловко...

Родился и вырос в Кузбассе,
но долго Адама наивнее был:
все люди хранили деньжата
в сберкассе,
я свой капиталец
в аптеке хранил.

Не знакомый с рекламой гражданин из стихотворения Матвеева «...брылся в пирожной, лечился в сапожной, (...) шел в ателье покупать виноград. Не знал, что в дорогу берут плащ дорожный, цветы обоняют, а рыбу едят».

Прием поэтического «снижения», доведения до абсурда любой здоровой мысли — прием этот становится одним из главных в творчестве Владимира Матвеева. В подобных стихах голос повествователя как бы беспристрастен — он избегает высказывать свое отношение к событию. Здесь «играет» сама ситуация, и серьезность выражения на лице автора лишь подчеркивает комизм. Вот в первой строфе стихотворения Владимир Матвеев вспоминает существовавший в Древней Греции обычай: разбавлять вино водой. Вторая строфа внешне нейтрально сообщает читателю о «верности традициям» греков (так и называется стихотворение) в соседнем магазинчике:

Продавец тетя Маша
древним грекам верна —
у нее без воды
не бывает вина.

И еще одна, с годами все нарастающая — чрезвычайно важная — тема звучит в стихах Владимира Матвеева. Это тема творчества.

Сатирики пишут об искусстве, борясь с суррогатами культуры. Сатирик чем-то схож с тем маленьким мальчиком из андерсеновской сказки, который вопреки самым авторитетным мнениям решительно восклицает: «А король-то голый!»

Они проходят по многим произведениям Матвеева, эти антигерои искусства. Рецензент, пишущий по принципу: «и критик сыт, и автор цел»; самонадеянная драматическая актриса, о которой сатирик замечает: «смешно искать себя в искусстве, искусства не найдя в себе»; диктор телевидения, часто решающая «сложные задачи: как яркой быть и в серой передаче»...

Пожалуй, более всего поэту удаются стихи о халтурщиках от искусства, где опять-таки нет откровенно «разоблачительных» строк, где «разоблачение» делает, смеясь, читатель.

Следуя этому принципу, Матвеев может дать «доброжелательный» совет своему коллеге из стихотворения «Начинающему поэту-пенсционеру»:

Старик,
не мучь ты
музу, право,—
и ей дано
на отдых право.

Или загадать ироническую загадку в стихотворении «Кто талантливее?», дав затем такой ответ:

Из двух бездарностей
Талантливее тот,
кто первым
музе даст расчет.

В 1973 году Владимир Матвеев вместе с художником Николаем Бурцевым выпустил книгу «Копыто Пегаса». Сюда вошли дружеские шаржи, эпиграммы, пародии на писателей, художников, артистов. Сборник оказался итоговым: ведь в жанре пародии и эпиграммы автор не раз выступал раньше. Не случайно еще в книге «Житье-бытие» был раздел, расширенный затем Матвеевым до пределов сборника: раздел этот так и назывался—«Копыто Пегаса».

Жанры литературной пародии и эпиграммы синтетичны по самой своей природе: они не только смешны — они непременно включают в себя элементы литературно-художественной критики. Прежде чем создать пародию, автор должен понять образную систему пародируемого поэта или прозаика, разгадать тайну его художественного мышления. И поэтому «самый глубокомысленный критик,— замечал в одном из писем Леонид Первомайский,— подчас не способен так остро и выразительно увидеть существеннейшие «черты лица» писателя, как талантливый и наблюдательный пародист сквозь свое увеличительное стекло. И влияние короткой пародии бывает куда сильнее воздействия растянутой критической статьи...» («Вопросы литературы», 1974, № 10).

Жанр литературной пародии и эпиграммы близок Владимиру Матвееву, как близка ему и литературная критика: рецензии и статьи поэта-сатирика постоянно публикуются на страницах газет, альманаха «Огни Кузбасса».

Критика, как известно, поверяет алгеброй гармонию. Про пародиста можно сказать, что он не ограничивается этим, а, пользуясь результатами проведенного анализа, создает в своем стихотворении новую гармонию — по-своему «реконструирует» образную систему того или иного автора. В пародиях В. Матвеева на стихи Валентина Махалова, Владимира Измайлова, Василия Федорова, Геннадия Карпунина, Валерия Зубарева, Сергея Донбая легко узнается оригинал; порой кажется: так вполне мог сказать и сам пародируемый поэт (если бы не пародийное заострение, нужное для того, чтобы «сконцентрировать» приметы

творческого облика). Моментальный и точный снимок поэтического лица особенно удается В. Матвееву тогда, когда он создает целый цикл пародий на одну тему. Например, в книге «Копыто Пегаса» автор «заставляет» несколько кузбасских поэтов высказаться на тему «Берегись злой собаки». Такие циклы безусловно импонируют читателю: он имеет возможность сам сравнить характер поэтического мышления Михаила Небогатова и Виктора Баянова, Евгения Буравлева и Геннадия Юрова, Александра Пинаева; здесь особенно наглядно мастерство пародиста... Правда, замечу: мне не кажется, что все пародии В. Матвеева одинаково удачны. Порой автор отталкивается не от главного — не от неповторимых интонаций поэтической речи, а от ярких, «выигрышных» деталей, которые, кажется, так и просятся в пародию, но сами по себе ни о чем не свидетельствуют: они могли бы появиться в произведении любого другого поэта.

Эпиграммы Владимира Матвеева и дружеские шаржи Николая Бурцева, напечатанные в сборнике «Копыто Пегаса», как правило, дружеские в самом прямом смысле: в них нет сатирического жала. Но есть понимание того главного, что определяет дорогу творца.

Емкий подтекст открывается в стихотворении, посвященном Геннадию Блинову — автору книг для детей. Суть проглядывает уже в заголовке — «Операция «Поиск»». Сначала вспоминается, что очень похожее название носит одна из книг самого Геннадия Блинова. Потом слово «поиск» наполняется иным смыслом:

Он ищет
творческое средство —
быть детским,
не впадая
в детство.

Здесь явно идет речь о «законе существования» хорошей детской литературы; законе, сформулированном когда-то еще Корнеем Чуковским в его книге «От двух до пяти»: «Поэзия для маленьких должна быть и для взрослых поэзией».

В своих эпиграммах Владимир Матвеев умеет удачно использовать лексику других поэтов — прибегает к литературным реминисценциям. Он пишет об известном актере Владимире Самойлове:

Оттачивать таланта грани
в родном Кузбассе начал он.
И, как сказал бы Северянин,
он «повсеградно обэкрашен»,
он «повсесердно утвержден».

Лексика автора знаменитых «поэз» входит в эпиграмму Матвеева органично, шутивно-восхищенно, подчеркивая масштабы артистической известности.

Иногда эпиграммы вступают в спор; так, в стихотворении, посвященном поэту Михаилу Небогатову, автор недвусмысленно полемизирует с иными критиками:

В оценке творчества его
жива предвзятость:
кто видит простоту,
кто — простоватость.

Порой в эпиграмме есть микрорецензия. Говоря о таланте Игоря Киселева, Владимир Матвеев вспоминает сборник его стихов «Четыре дождя»:

Уменьем автора
можно гордиться:
ночует в «дождях» его
редко водица.

И, конечно, в основе любой эпиграммы — понимание не только творчества, но и личности писателя. В эпиграмме на Зинаиду Чигареву, главного редактора книжного издательства, прозаика и драматурга, Владимир Матвеев как бы «угадывает» сомнения писательницы, трудности ее литературной работы:

На два фронта
не просто рассредоточиться,
редакторство —
сухая драма для творчества.

Традиционные в литературе поиски слова... Они приобретают в поэтической сатире особое значение. Здесь «сестрой таланта» является не только краткость, но и неожиданность и меткость: без этого сатира превращается в унылые прописи.

Стихотворение В. Матвеева «В гостях» не ново по замыслу — выписан еще один портрет мещанина, хвастающегося перед гостями своим мебельным гарнитуром... Картина перестает быть банальной, когда в конце стихотворения слышишь пронзительный голос автора:

...Не умолкал ни на минуту,
гостеприимен был вполне.
Но стало грустно почему-то
и гарнидушно
стало мне.

Одно лишь слово — «гарнидушно», свидетельствующее об искренней, непосредственной, подлинно человеческой реакции на «вещную лихорадку», придает стихотворению новый незатертый смысл.

Случается, что ключ к оригинальному сатирическому образу дает В. Матвееву... словесный штамп. Давно доказано: стиль — это человек; обнажая стиль речи одного докладчика, сатирик обнажает и безликость человеческую:

Он «так сказать»
на «так сказать»

скороговоркой множит.
Он, так сказать,
без «так сказать»
двух слов связать
не может.

Это отмечаешь все чаще в стихах В. Матвеева: игра слов и звуков сама по себе рождает сатирический эффект. В стихотворении «Сюрпризы архитектуры» звуковой повтор оказывается не просто оригинальным, но по-настоящему многозначительным:

Скачок
причудливый однако:
то стиль барокко,
то — барака.

Маленькая эпиграмма дает толчок читательскому воображению; думаешь и о городе, где существуют подобные «архитектурные скачки», и о перипетиях конкретной творческой биографии (если допустить, что в стиле от «барокко» до «барака» работал один человек).

Стихи В. Матвеева хорошо воспринимаются «в сопровождении» работ художников; причем, нередко рисунки и стихи создаются одновременно, параллельно. В таких случаях поэт стремится учесть замысел карикатуриста, «обыграть» его. В книге «Копыто Пегаса» один из наиболее интересных шаржей посвящен живописцу Ивану Филичеву. В. Матвеев, конечно, понимал: читатель прежде всего обратит внимание на рисунок Н. Бурцева — экспрессивный, яркий, резко выявляющий суть «натуры»... И работая над подписью, В. Матвеев опасался что-либо «растолковывать», он счел возможным просто «помолчать», а точнее — выделить словом талантливую работу художника. Поэт скромно замечает:

Все об Иване
сказано штрихом,
мы стоим в стороне
со стихом.

...«Для того чтобы быть сатириком, надо быть добрым человеком», — заметил, выступая однажды по телевидению, С. Михалков. Здесь нет противоречия; здесь сформулировано то, что становится очевидным в результате долгого литературного опыта. Наверное, ощущая эту закономерность, Владимир Матвеев столь органично для себя и пришел к стихам для детей. Его книжки — для самых маленьких, что проявляется уже в названиях: «Как не стыдно Сереже?» (1974), «Ах! Какие котята!» (1976), «По грибы» (1976).

В одной из статей, анализируя книги для детей, Владимир Матвеев обратил внимание на парадокс: «Охотников сочинять детские стихи у нас не счесть, а сборников, которые полюбили бы ребятишкам, мало. Некоторых

авторов привлекает обманчивая легкость, с какой якобы создается чтиво для самых юных». («Огни Кузбасса», 1969, № 4). Автор статьи провел своеобразный эксперимент: он прочитал рецензируемые книги воспитанникам детсада. Размышляя потом над отзывами ребят, В. Матвеев, на мой взгляд, осмыслил и свои собственные творческие принципы — то, что порой кажется элементарным, но что так трудно претворить в конкретном стихотворении. «Видимо, с творческим домислом в поэзии для школьников непозволительно вольничать, — замечал В. Матвеев. — Фантазируй, да так, чтобы тебе верили, чтобы иной раз и небывица убеждала пуще были. Малыши охотно слушают и запоминают стихи, где налицо сюжет, пусть самый незамысловатый... Им нравится, когда поэт, оставаясь взрослым, умеет посмотреть на окружающих их глазами, порадоваться их радостями, опечалиться их печалью».

Все это есть в лучших произведениях самого В. Матвеева. В своем разговоре с детворой автор боится «сюсюканья», он не устанавливает между собой и читателем возрастную дистанцию. Объясняя, «что такое хорошо и что такое плохо», поэт далек от назидательности. В книжке «Ах! Какие котята» он предлагает веселую «антологию» кошачьих нравов. Здесь шалун и лодырь, замазашка и злюка, грубиян и плакса, драчун и жадица, ворышка и лгун... И в стихах, и в талантливых рисунках Г. Кар-

лова покоряет стихия доброго юмора. «Щадящего юмора». Поэт и художник даже жалеют кота-обжору:

Скучно, ребята,
котенок живет —
целыми днями
жует и жует.

Приучая детей замечать смешное, В. Матвеев приучает их и к ассоциативному мышлению; вот, например, лаконичный портрет кота-лгунишки:

На каждый случай
выдумка находится:
— Кот в сапогах
мне дедушкой
приходится!

...Критики не любят предсказывать писательские судьбы. Может быть, из боязни ошибиться, может быть, понимая: «гадание» и литература — разные вещи. Но по прошествии времени многое становится ясным. Не приходится сомневаться и по поводу того, каким будет дальнейший литературный путь Владимира Матвеева. Ведь всегда остается неизбывной человеческая жажда юмора, наше стремление преодолеть смехом и «частичные» недостатки быта, и изъяны своей души. Что же касается Владимира Матвеева, то, конечно, он не изменит своей трудной музе.

Сегодня, завтра и... четверть века спустя.

Наши авторы

Власов Владимир Аскольдович, родился в 1924 году. Автор книг «Завтра связи не будет», «Кара-Тайга» и «Техник Валька, Мерзавец и другие».

Член Союза писателей.

Куропатов Владимир Федорович, родился в 1939 году в с. Кузедееве Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор книг «Пожили-поработали», «Зеленый луч».

Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Гуковский Афанасий Иванович, родился в 1914 году в Ростовской области. Окончил Ростовский педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны. Работает уполномоченным Западно-Сибирского бюро пропаганды художественной литературы при Кемеровской писательской организации. Автор книг «Особый счет» и «Кролики и росомахи».

Живет в Кемерове.

Немченко Гарий Леонтьевич, родился в 1936 году в станице Отрадной Краснодарского края. Окончил Московский государственный университет. Автор романов «Здравствуй, Галочкин!», «Пашка — моя милиция», «Считанные дни» и др.

Член Союза писателей. Живет в Москве.

Цейтлин Евсей Львович, родился в 1948 году в Омске. Окончил Уральский государственный университет. Его критические статьи печатались во многих центральных журналах, автор книг «Беседы в дороге, Всеволод Иванов — литературный наставник, критик, редактор» и «Всегда и сегодня».

Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Кушникова Мэри Моисеевна, родилась в Кишиневе. Окончила Дрогобычский педагогический институт и Черновицкий государственный университет. Публиковалась в периодических изданиях.

Живет в Кемерове.

Зыков Илья Васильевич, родился в 1899 году. Писатель-натуралист. Автор книг «Очерки природы Кузбасса», «С ружьем и котомкой по тайге», «Собольи след» и другие.

Живет в Кемерове.

55 коп.